

1879—1889

ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ СОСЛАННЫХ В ВИЛЮЙСК СТАРООБРЯДЦЕВ ЧИСТОПЛЮЕВЫХ И ГОЛОВАЧЕВОЙ

Ваше императорское величество,
всемилоостивейший государь моей родины,

Человек, признанный судебным порядком за врага вашей особы, осмеливается думать, что люди, которых называет он своими друзьями, могут, по его молению к вам за них, быть помилованы вашим величеством.

Эти люди: бывшие жители посада Дубовки Фома Чистоплюев, жена его Катерина и тетка его Матрена Головачева.

Они сосланы по судебному приговору на поселение, как преступники против особы вашего величества.

Приговор, произнесенный над ними, бесспорно правилен. Они употребляли, говоря об особе вашего величества, выражения, преступные по закону, или признавали себя за людей одинакового с говорившими так образа мыслей.

Но они соединяли с этими выражениями смысл, бывший понятным только для них и сделавшийся известным мне единственно благодаря тому, что они вполне откровенны со мною, как не могут быть откровенны ни с кем, кроме людей, считаемых ими за родных. Они считают меня за своего родного.

Смысл этих выражений тот, что они почитают ваше величество святым человеком, приносящим в жертву влечению души вашей к возвышеннейшей добродетели все блага, которыми могли бы вы пользоваться.

Каковы бы ни были мои политические мнения, но смею сказать о себе, что я не обманщик.

Ваше величество, по глубокому убеждению этих людей, самый лучший человек из всех людей на свете. И всего благого для России они ждут исключительно от вас. Вы желаете, чтобы в России не было бедности; вы желаете, чтобы все люди в России стали добры и честны. И вы достигнете осуществления этих ваших желаний. Они в том убеждены непоколебимо.

Умоляю ваше величество помиловать людей, думающих о вас так.

Если ваше величество найдете возможным исполнить мое моление к вам за них, то я буду знать, что доставил вашему сердцу несколько счастливых минут.

Человек, который, каковы бы ни были его политические мнения, благословляет ваше величество за то, что, наперекор неистовым воплям невежд, вы спасли вашу империю от напрасных тяжких страданий, не поколебавшись ратифицировать Берлинский трактат ¹.

Николай Чернышевский.

Милостивейший государь,
Яков Ильич ²,

Мои хорошие знакомые, живущие здесь по состоявшемуся над ними судебному приговору, Фома Павлович и Катерина Николаевна Чистоплюевы и Марфа Никифоровна Головачева поручили мне передать вам их письмо к их родным и знакомым, с тем, чтобы письмо это было отправлено вами вашему начальству, а ваше начальство просит они отправить это письмо по адресу.

Прошу и от своего собственного имени ваше начальство об исполнении этой просьбы моих хороших знакомых.

Присоединяю к этой моей просьбе следующие сведения о лицах, за которых прошу.

Чистоплюевы и Головачева — люди безграмотные. А издавна очень много размышляли о богословских вопросах. Я в молодости готовился быть ученым богословом. Потому могу с основательным знанием предмета свидетельствовать, что люди без обширного научного образования не в состоянии правильно понимать богословские тонкости. И натурально, что люди совершенно безграмотные, как Чистоплюевы и Головачева, сколько ни ломали свои головы над этими вещами, не могли ничего понять сколько-нибудь ясно. В том и вся причина странностей, увлечение которыми привело Чистоплюевых и Головачеву сюда, в Вилуюск.

Только в том. Они безграмотны. Их мысли — сбивчивые мысли безграмотных людей. И при сбивчивости их мыслей, их способ выражения туманен, неудобопонятен никому, кроме людей, подобно мне специально занимавшихся изучением тонкостей богословия.

Даже и богослову по профессии, каким был я некогда, и, благодаря моей довольно сильной памяти, остаюсь до сих пор, мудро понимать действительный смысл туманных выражений Чистоплюевых и Головачевой без помощи длинных расспрашиваний и рассуждений.

Они считают меня искренним другом их. И вполне откровенны со мною.

Вам известно, Яков Ильич, что, познакомившись с ними недавно, я уж несколько раз проводил в дружеских беседах с ними по два, по три часа. И я буду продолжать мою дружбу с ними.

По обстоятельству, не имевшему никакого отношения к каким бы то ни было распоряжениям вашего начальства обо мне, я решился прекратить на некоторое время всякие сношения с моими родными³. Естественно, что пока я не пишу к моим родным, я не веду и никакой переписки ни с кем другим (кроме вас). Через полтора или два месяца я возобновлю переписку с моими родными. Тогда я напишу и для вашего начальства записку о Чистоплюевых и Головачевой. С тем вместе, я напишу и просьбу о их помиловании. От моего ли имени будет эта просьба, или от их имени, я еще не умею сказать; я подумаю, которая из этих двух форм просьбы будет более соответствовать содержанию своему. Если я найду удобным писать просьбу от их имени, то, разумеется, я присоединю к ней другую, краткую, просьбу о них от моего имени. К кому будет обращена просьба, к его величеству или к ее величеству, я еще не умею сказать. Дело в том, что старик Чистоплюев теперь очень хил; из трех моих друзей только Катерина Николаевна Чистоплюева еще пользуется хорошим здоровьем; она одна кормит своею работою тех двух, больного мужа и очень престарелую тетку (Головачеву); потому главное лицо в семье — она. А когда так, то просьба не должна ли быть обращена к ее величеству государыне императрице? Подумаю об этом. Смею уверить, что буду писать по чистой совести. В чем не буду твердо убежден сам, того не буду писать его величеству или ее величеству.

Одно могу с полной уверенностью написать теперь:

Если бы правительство нашло возможным помиловать Чистоплюевых и Головачеву, то они стали бы жить на родине совершенно смирно.

Прошу вас, Яков Ильич, передайте вашему начальству то, что я теперь пишу вам.

С истинным уважением имею честь быть вашим покорнейшим слугою

Н. Чернышевский.

26 марта
1879

Ваше высокопревосходительство⁴

В конце марта я написал, с целью сообщения моих слов вам, что месяца через два я отдам находящемуся при мне вашему подчиненному, для отправления к вам, прошения на имя его величе-

ства или ее величества о помиловании трех ссыльных: Фомы и Екатерины Чистоплюевых и Матрены Головачевой.

Для того чтобы ваше высокопревосходительство могло видеть, позволяет ли вам ваша совесть и ваш служебный долг ходатайствовать о помиловании этих людей, вам, конечно, необходимо иметь от меня подробную деловую записку о них.

Она еще не готова у меня. Те люди, за которых прошу я, ровно ничего не понимали в своем процессе. Потому надобно было мне очень много времени, чтоб доискаться до смысла в их бестолковых рассказах.

Без деловой записки, еще не готовой у меня, ваше высокопревосходительство не может ничего сделать в пользу бедняков, за которых прошу я. Я понимаю это. Но если б я не отправил в назначенное мною же самим время мое прошение за них, это могло б иметь вид, что я по каким-нибудь мотивам пустой щепетильности колеблюсь написать прошение.

Потому посылаю его теперь же.

Я нашел нужным, по особенностям моих обстоятельств, написать к приготавливаемой мною для вашего высокопревосходительства деловой записке предисловие, со всеми подробностями излагающее мои отношения к людям, за которых я прошу.

Это предисловие готово у меня, и я посылаю его при этом письме. Оно имеет форму простого рассказа, вроде того, как если б это была глава из моей автобиографии. Оно все состоит из фактов мелочных, очень мелочных. Не смею надеяться, что ваше высокопревосходительство будет иметь досуг прочесть его. Но если вашему высокопревосходительству случится самому хоть взглянуть на него, то вперед прошу вас простить мне безобразный вид рукописи. Переписка набело у меня идет черепашью ходом: чтобы оказался сносно переписанным набело один лист, мне приходится бросить десять, двадцать до половины или почти до конца переписанных и попорченных описками листов. Впрочем, и то сказать: если судить не с каллиграфической, а с деловой точки зрения, то черновая рукопись имеет над беловою преимущество непосредственной экспансивности.

Два месяца тому назад я писал, что еще не умею решить, на чье имя будет мое прошение, и от чьего имени будет оно: на имя его величества государя императора, от моего собственного имени, или на имя ее величества государыни императрицы, от имени женщины, которая имеет преобладающее значение в группе моих друзей, за которых прошу я. — Когда выяснилось содержание деловой записки, которая необходима вашему высокопревосходительству для оценки основательности прошения, то я увидел, что прошение должно быть от моего имени; следовательно, на имя его величества государя императора.

Оно имеет форму письма.

Протопопова) не только сама не имела, не только здесь не знает, но и в целом Иркутске не знавала (г-жа Протопопова была из Иркутской губернии), вообще не встречала ни у кого из знакомых ей дам во всю свою жизнь. И это женщина безусловной честности. Она (г-жа Протопопова) сдала на руки ей все хозяйство, и с той поры домашние расходы сократились вот насколько (хлеб — на третью долю, мясо — почти наполовину и т. д.). А между тем число людей в доме увеличилось двукратно: правда, она (г-жа Протопопова) отпустила прежнюю кухарку, потому что поручила няне быть и кухаркою, — и какая хорошая это кухарка! Готовит кушанье лучше иркутских поваров; — таким образом, правда, число прислуги теперь не больше прежнего, но в доме живут лишних против прежнего два человека: муж няни, хилой мужчина лет пятидесяти пяти, не имеющий силы работать, и тетка этого больного, вовсе старуха очень слабая. Вот что значит хорошая экономка, честная женщина: в доме живет двукратно больше прежнего, а расходы так много уменьшились. — Г-жа Протопопова долго изливала передо мною эти свои чувства. Муж подтверждал все ее слова и прибавлял, что он теперь счастлив за жену: прежде она была измучена хлопотами с детьми; теперь она отдыхает благодаря няне; здоровье ее восстанавливается. Это было видно и мне, по сравнению с тем, каков был цвет лица г-жи Протопоповой полтора года тому назад.

Старшие дети, играя около нас, немножко растрепали на себе башмачишки, рубашонки, платьишки. Г-жа Протопопова призвала опять няню помочь ей поправить на них обувь, одежду. Я нашел обязанностью учтивости перед г-жою Протопоповой обменяться несколькими словами с служанкою, которой она так благодарна. Я заговорил с нянею. «Позвольте спросить, как вас зовут?» (Я давно приобрел привычку говорить в таком тоне выражений со всеми; я говорю так даже и с теми якутами, которые знают по-русски настолько, чтобы понимать разницу между «ты» и «вы», — «скажите мне» и «прошу вас сказать мне» и т. д.). — Итак, я говорю няне: «Позвольте спросить, как вас зовут?» — «Прежде звали Катериною». — «А по батюшке?» — «Прежде звали Николаевною». — Странные слова: «прежде звали», — подумал я; из них понятно, что эта женщина держится каких-то очень оригинальных мнений, вероятно, религиозного рода, как обыкновенно простолюдины размышляют усерднее всего о религиозных вопросах. — «Позвольте спросить, Катерина Николаевна, какой вы веры?» — «Нас здесь зовут староверами». — «Не по делам ли вашей веры привелось вам быть здесь?» — «Да, по ним». — «Вы говорите, вас зовут здесь староверами; дел о староверах ныне заводят мало. Быть может, здешние люди не умеют называть вашу веру правильно?» — «Да, не умеют». — Я когда-то готовился быть ученым богословом, знал тогда, в каких местностях России какие мнения преобладают между людьми, не принадлежащими к

православной церкви. — «Позвольте полюбопытствовать, Катерина Николаевна, откуда вы родом?» — «Из Дубовки». — Я помнил, что Дубовка — один из центров молоканства, или, по названию, которое дают этому учению сами последователи его, духовного христианства. — «Не будет ли правильнее называть вас и ваших здешних родных, Катерина Николаевна, духовными христианами?» — «Если хотите, зовите нас хоть так». — «Вы сказали: если я хочу, пусть зову вас хоть так, стало быть, и это название неправильное?» — «Да, и это название будет неправильное». — «Как же называть вас правильно?» — «Не умею вам сказать». — «Как же это, не умеете? Быть может, не расположены сказать, Катерина Николаевна? То я не хочу делать неприятных вам вопросов. Оставим это, поговорим о чем другом». — «Нет, почему ж бы не сказать вам, если б умела; вам я сказала бы, но не знаем мы сами, как нам называть себя». — Ко мне она почему-то имеет, кажется, полное доверие. Перед г-ном и г-жою Протопоповыми она, разумеется, не стеснялась бы говорить о своей вере все, что сама знает: они так любят ее. Стало быть, она действительно сама не знает, как называть свою веру. — «Что ж, Катерина Николаевна, у вашей веры должно быть еще нет названия?» — «Должно быть, что нет». — «Значит, когда еще не найдено для нее названия, она вовсе еще новая?» — «Не знаю, может быть и так». — «Но, например, вы сама так и выросли в ней?» — «Нет, мы с моим стариком лет двадцать прожили после свадьбы нашей все еще в прежней нашей вере». — «А прежняя ваша вера была какая же?» — «Соловьевская». — Ни о какой «соловьевской вере» не читывал я, когда занимался, в моем юношестве, богословием. — «Какая ж это вера, соловьевская? Мне не случалось читывать о такой, Екатерина Николаевна». — «Если не знаете этого названия, то называется она тоже иргизской верою». — «А, об иргизской вере я когда-то знал порядочно-таки. Это вера бывших иргизских монастырей, это старообрядчество, как его зовут в книгах, или, по-простонародному, старая вера». — «Да». — «Почему ж вы называли ее тоже и соловьевскою?» — «Потому что, когда я была в ней, она была уж не совсем-то прежняя иргизская». — «В чем же вышла разница от прежней иргизской?» — «А у нас уж ни церкви, ни часовни не было, и негде нам было собираться вместе молиться. Молились только каждый у себя дома, и службы никакой не было, только молились». — «И значит, судя по названию: соловьевская вера, это чтобы молиться по домам, каждому у себя, завел Соловьев?» — «Нет, этому учили прежде в Соловьевском монастыре, а не то, что научил нас этому кто, чья фамилия была Соловьев». — «Этому учили прежде в Соловьевском монастыре, сказали вы, Катерина Николаевна, что ж это за монастырь? Я о таком не читывал. Где он был?» — «Он и теперь остается, только теперь в нем, должно быть, прежнего учения уж нет; а впрочем, не знаю, так мы

думаем, что нет, а правда ли, мы не знаем. Да оно теперь для нас уж и все равно, чему учат там, потому что мы перешли в другую веру». — «Как же это вы не знали хорошенько, что теперь делается в Соловьевском монастыре, когда еще держались прежней соловьевской веры? Тогда вам было, я думаю, любопытно знать достоверным манером, остается ли там все еще прежняя вера». — «Точно, тогда нам было бы очень любопытно знать это; только: мы люди простые, книг не читали, а Соловьевский монастырь очень далеко от Дубовки, и верных слухов оттуда до нас не доходило. Очень далеко это от Дубовки, не умею вам хорошенько сказать, где именно, только где-то далеко за Москвою, на море». — «А, вот что, Катерина Николаевна! Теперь я разобрал, о каком монастыре вы говорите. Вы не умели правильно выговорить его название. Этот ваш Соловьевский монастырь называется по-настоящему Соловецкий, а не Соловьевский». — «Вот как оно вышло! Стало быть, это самый тот монастырь и есть, куда, кто обыкновенной веры держится, у которой и соборные церкви, и архиереи есть, на поклонение ходят?» — «Тот самый, Катерина Николаевна». — «Когда вы так о нем знаете, то, значит, знаете, прежняя ли остается в нем вера, которой мы прежде держались? Должно быть, оно точно, уж не остается в нем той прежней веры, когда люди обыкновенной веры ходят туда на поклонение?» — «Совершенно так, Катерина Николаевна: там теперь обыкновенная вера. Впрочем, теперь для вас это все равно». — «Да, все равно». — «Вот о прежней вашей вере я теперь понял, Катерина Николаевна. А о той вере, которой вы держитесь теперь, вам не будет неприятно говорить со мною?» — «Почему ж не говорить?» — «Хорошо, Катерина Николаевна. От кого вы научились вашей нынешней вере?» — «По-настоящему говоря, ни от кого мы ей не научились, сами дошли в своих мыслях до того, что она хорошая. А первый перешел в нее Богатенков; вместе с ним и другие некоторые. А мы перешли в нее несколько после Богатенкова и тех других». — «Это все дубовские тоже люди?» — «Богатенков и те все были из самой Дубовки. А из тех, которые перешли в эту веру вместе с нами, некоторые жили в Песковатке, а не то, что в самой Дубовке». — «О Песковатке я не знаю, Катерина Николаевна, где это и что это, большое ли село, или деревня маленькая. Это далеко от Дубовки? Верно, не далеко?» — «Вовсе подле: в старину считали между Дубовкою и Песковаткою семь верст. Но тогда Дубовка была еще маленькая. А теперь она очень широко раскинулась. Да и Песковатка-то растет. Теперь только прежняя привычка считать между ними семь верст. А краями-то теперь они уж вовсе близко сошлись». — «Вы сказали о Богатенкове: он перешел первый в ту веру, в которую перешли вы несколько после. Кто такой он?» — «Был он купец, человек очень достаточный, не из первых богачей в Дубовке, но с большим состоянием». — «Вы по делам вашей веры сосланы, а он остался

цел? Должно быть, тоже не уцелел?» — «Тожe сосланы, он и те, которые перешли в одно время с ним. Только сослали их не в Сибирь, а за Кавказ». — «Бедно они там живут или не терпят нужды?» — «Не умею вам сказать наверное. Но, сколько можем мы судить, живут они там не то, чтобы в тяжелой бедности; может быть, и с некоторым, хоть небольшим, достатком». — «Много их было отдано под суд, Катерина Николаевна, и сколько было сослано?» — Но в эту минуту заплакал в детской малютка; Катерина Николаевна извинилась, что должна идти к нему убаюкивать его, и пошла.

Я давно приобрел привычку подавать руку всем, с кем говорю; подаю руку и всякому якуту, который, повстречавшись со мною на улице, остановится сказать мне: «здорово». Когда я начал разговор с Катериною Николаевною, она стояла нагнувшись, оправляя одежонку на детишках; я рассудил тогда, что не отрывать же мне ее рук от этого дела, подавая ей руку. Я только подошел к ней, чтобы разговаривать. Теперь, когда ступила она с места, идти в детскую, руки у нее были сложены, по обычаю пожилых русских простолюдинок, на груди. Я подал ей руку. Она не развела своих сложенных на груди рук. Я подумал: она считает неучтивостью перед «господами», у которых она служит, подавать руку для пожатия мне, их гостю. Я протянул свою руку к ее сложенным на груди рукам, пожал одну из них, где пришлось, между кистью и локтем. Она не отвернула руку от этого моего пожатия, хоть легко успела б это сделать, потому что движение моей руки к пожатию было, разумеется, очень тихое. И ничего особенного в том, что сама она не пожала мне руку, я не предположил: это просто соблюдение служительской учтивости перед господами, подумал я, как уж сказал.

В разговоре с нею я беспрестанно называл <ее> по имени и отчеству, как требует учтивость по разговору в русском простонародном вкусе. Она ни разу не назвала меня по имени и отчеству. Я предполагал: это потому, что она не знает их, слышала лишь мою фамилию, а называть человека по фамилии, это, по простонародному, невежливо, когда говоришь не с другими о нем, а с ним самим. (Это вычеркиваю потому, что можно тут обойтись и без этого. Письмо выходит слишком длинно и без лишних в нем подробностей. В записке, предисловием к которой служит это письмо, повторю и объясню то, что вычеркнул теперь здесь.)

Она ушла, и не представилось случая, чтоб она снова пришла в зал из детской. Но г-н и г-жа Протопоповы продолжали толковать мне о ней, какая она хорошая и как они благодарны ей. Я не поддерживал этого разговора: он не интересовал меня; но и не перерывал я его: пусть говорят, о ком хотят и что хотят, мне одинаково занимательны всякие разговоры Протопоповых ли, других ли здешних чиновников, священников, купцов, мои умственные интересы совсем иные, чуждые всем этим людям. Мне

всегда одинаковая скука со всеми ними, о чем бы они ни беседовали со мною. (Потому-то я и дал себе перед тем полугодовым отдыхом от приятности беседовать с ними, и теперь, чтоб не пользоваться этою приятностью сверх размера, какой сносен для меня, объявил им, возобновляя мои знакомства с ними, что хоть сам я и буду навещать их, но ко мне пусть они не ходят: я не приму никого, и распорядился, чтобы моя прислуга не допускала никого ко мне: я постоянно читаю и пишу, кто пришел бы ко мне, помешал бы мне. — Это мое распоряжение будто сурово, но, как быть! — иначе эти люди, не знающие куда девать время, приходили б надоедать мне своею монотонною и пустою болтовнею каждый день с утра до ночи.)

Итак, по индифферентности всяких разговоров здешних чиновников, священников или купцов для меня, я оставляла теперь г-на и г-жу Протопоповых толковать мне о ком и о чем хотят. И очень, очень долго толковали они всё о своей няне, «за которою», по выражению, употребленному много раз ими обоими, г-жа Протопопова «живет теперь, как у Христа за пазухою» (известное народное выражение, обозначающее спокойную и приятную жизнь).

Из рассказов г-на Протопопова я узнал, что он, с год тому назад, объезжая по долгу службы свой округ, нашел Катерину Николаевну, ее мужа и тетку ее мужа живущими в одном из «ночлегов» округа. («Ночлег» или, по здешнему выговору, «наслег» — нечто соответствующее тому, что в Европейской России называется волостью.) Они были признаны по медицинскому свидетельству неспособными добывать себе пропитание земледельческою или какою другою сельскохозяйственною работою. Потому, как велит закон относительно подобных случаев, им была дана от ночлега, где начальство поселило их, «юрта» (якутская избышка) и даваемо было от ночлега содержание. Само собою понятно, это была жизнь очень бедная, тяжелая, полуголодная. Протопоповы очень нуждались в порядочной няньке. Г-ну Протопопову показалось, что младшая из двух женщин была бы хорошею нянькою. Он спросил ее, согласится ль она на это, если он выпросит у областного начальства разрешение ей жить в городе Вилюйске. Ее мужа и его тетку он не хочет брать жить у него: они оба уж так хилы, что вовсе не годятся быть прислугою, а кормить их даром, это, при здешней дороговизне хлеба (да и всего, кроме мяса), слишком большой расход для него, имеющего в Иркутской губернии кусок земли и порядочный домик на том куске, потому не вовсе бедного, но очень небогатого и обремененного довольно большим семейством. Итак, — объяснял он младшей из двух женщин, — если она согласится жить у него в Вилюйске, то придется ей жить врозь от мужа и его тетки: они пусть остаются в ночлеге. Но их юрта всего в тридцати верстах от города, они могут часто приходиться к ней в гости, эти посещения не разорят же его (г-на Протопопова). Она согласилась: «Горько

мне будет оставить их, таких дряхлых, без моего ухаживания за ними. Но должна ж я, пока могу, работать для них. Какие-нибудь деньги буду получать, служа у вас. Тогда хоть не будут голодать мои муж и тетка». (Она зовет тетку мужа своею теткою, потому что с молодости привыкла любить ее так.) Г-н Протопопов спросил, сколько ж хочет она получать жалованья. Она сказала: «У нас вовсе нет денег; сколько дадите, столько и будет хорошо». Он сказал, что будет платить ей три рубля в месяц. Она сказала: «И довольно этого».

Получив разрешение областного начальства, г-н Протопопов перевел Катерину Николаевну в город, и она стала нянькой у него. Когда Протопоповы хорошенько присмотрелись, как превосходно исполняет она свою обязанность, они прибавили ей жалованья. Муж временами приходил в город к жене. Тетка его не имела силы приходить. Скоро Протопоповы еще увеличили жалованье своей няне, а еще через несколько времени и не пожалели расходов на содержание хилых, неспособных служить им, мужа ее и тетки его, с разрешения начальства переселили их в город и взяли жить к себе. Расход на их содержание я ценю не менее 10 рублей в месяц (потому что, например, пуд ржаной муки стоит здесь от 2 р. 50 коп. до 3 рублей, а мука эта такая, что в пуде ее оказывается от 8 до 10 фунтов мякины, не идущей в пищу). Протопоповы, принимая старика и старуху на свое содержание, полагали, что будут кормить их вовсе задаром; делали это лишь из-за своей признательности к няне. И действительно, старик и старуха не имели сил служить. Но — к удивлению Протопоповых — принялись прислуживать насколько могли при своих немощах. И вышло: правда, ничего не в силах они делать, могут только сидеть с детьми и ласкать их; но сидели с детьми и ласкали их эти немощные люди так заботливо, что у Катерины Николаевны стало довольно много времени, свободного от надобности ухаживать за детьми. Тогда г-жа Протопопова поручила ей быть тоже и кухаркою, тоже и ключницею, и совершенно вверила ей, как я уж говорил, все домашнее хозяйство. Сбережений от экономности и безусловной честности было столько, что Протопоповы оставались, при всех своих расходах на Катерину Николаевну и двух ее семейных, в довольно большой выгоде, сравнительно с тем, во сколько обходилась им жизнь здесь прежде того. Потому они стали давать денежные подарки и мужу Катерины Николаевны, и тетке его, делали всем трем много подарков одеждою и тому подобными вещами. — Заходя несколько вперед, к поре отъезда Протопоповых из Вилуйска, замечу, что в десять месяцев, которые прожила Катерина Николаевна у них, она, и ее муж, и тетка получили от Протопоповых более ста рублей деньгами. Ценность подарков вещами, сделанных им, я не умею определить. Но трое людей, у которых оставалось уж очень мало одежды, теперь имеют,

как я вижу, не совершенно дурную для бедных людей одежду. А одежда здесь очень дорога.

Г-н и г-жа Протопоповы считались всеми в городе за людей очень бережливых на деньги и на всякие расходы. И лично мне казались такими. Потому очень большая щедрость их относительно Катерины Николаевны не может быть объясняема ничем, кроме чрезвычайно сильной благодарности их ей.

Я продолжал посещать Протопоповых. Видывал иной раз в зале Катерину Николаевну, приходившую присмотреть за детьми или сказать что-нибудь г-же Протопоповой. Я говорил Катерине Николаевне: «здравствуйте», и только: вновь ни разу не вступал ни в самый маленький разговор. Что за охота была мне говорить с нею? — Я давным-давно не интересуюсь никакими религиозными вопросами. Когда был у Протопоповых в первый раз, я говорил с их нянею только из учтивости к ним, чтоб они видели: я слушал их рассказы о их няне и верю их похвалам ей. Случилось мне увидеть однажды и дряхлую старушку, тетку мужа Катерины Николаевны; с нею не обменялся я ни одним словом, кроме того же «здравствуйте». Старика не видел и не думал увидеть. Все трое они были тогда нисколько не занимательны мне.

Но, неожиданно для меня, произошло обстоятельство, сделавшее меня другом Катерины Николаевны, ее мужа и их тетки.

Возобновивши мои знакомства с прежними знакомыми, я не мог не познакомиться и с теми людьми, которые приехали в Вилуйск после того, как я сделал себе полуторагодовой отдых от прежней скуки. Город крошечный, все служащие в нем беспрестанно бывают каждый у всех других.

В те полтора года приехали в Вилуйск двое новых должностных людей: чиновник акцизного ведомства Алипий Фомич Жуков⁵ и медик Иван Евгениевич Доброзраков. Оба они люди женатые. Я познакомился с обоими семействами. С особенным радушием принимали меня г-н и г-жа Жуковы, потому чаще всего посещал я их. Справедливо ль, или нет, но мне казалось, что г-н и г-жа Доброзраковы гораздо менее Жуковых или Протопоповых радужны относительно меня. Но никакой претензии на них за то, что я нравлюсь им менее, чем другим, я не мог же иметь. Посещал я и их, — временами, лишь изредка, временами, не редко. Однажды, в продолжение дней пяти, когда г-н Доброзраков был, по делам службы, в округе и одно из детей его занемогло (у Доброзраковых двое детей, обоим малютки), я бывал у огорченной и встревоженной до отчаяния г-жи Доброзраковой каждый день, по многу часов, как бывал недели три каждый день по очень, очень многу часов у занемогшей довольно опасным недугом г-жи Жуковой, тоже остававшейся тогда одинокою за отлучкою мужа ее по делам службы. Не то, что я чудо филантропии, нисколько, но — каковы бы ни были мои политические мнения или правила, я в делах частной жизни человек не злой и не бездушный.

Я сказал, что у Доброзраковых двое детей, обое малюток. А сносной няньки не имели они. Не могли найти, не только здесь, но и в Якутске. Здесь, кроме такого случая, какой по совершенно исключительному обстоятельству подвернулся Протопоповым, ни у кого, — совершенно ни у кого, — нет и во все годы, проведенные мною здесь, не было — ни одного слуги, ни одной служанки, которые были бы сколько-нибудь похожи на то, что называется порядочною прислугою. Здешние русские — козаки; они считают себя «благородными», чуть не дворянами, и лучше хотят голодать, чем унижить себя поступлением «в дворовые». А якуты — дикари, ведущие бестолковый и чрезвычайно грязный образ жизни. Итак, о Вилюйске, по отношению к прислуге, нечего и толковать. Но и в Якутске это немногим иначе. Найти там порядочного слугу или порядочную служанку необыкновенная редкость.

Г-жа Доброзракова сама готовила кушанье, сама пекла хлеб, сама прибирала в комнатах; — это не важно бы: так приходится здесь делать почти всем чиновницам и всем купчихам или женам священников; и само по себе это не действовало бы особенно тяжело на ее здоровье; но это брало у нее, разумеется, очень много времени. А она была сама ж нянькою при своих двух малютках (старшему было тогда — в начале нынешнего года — месяцев семнадцать, младшему — месяцев шесть или пять). Не говоря о непрерывных хлопотах во время дня, ей не удавалось хорошенько уснуть ни одну ночь. Жаль было смотреть на бедняжку. Жаль было смотреть и на ее мужа. Каковы бы ни были мои личные отношения к г-ну Доброзракову, я должен сказать в похвалу ему, что он хороший медик, и серьезно желает расширять свои медицинские знания; он привез с собою много медицинских книг, — все они выбраны им с прекрасным умением оценивать их значение в медицинской литературе, и он усердно изучает их, — или, собственно говоря, усердствует изучать, когда имеет на то досуг. Но досуга не приходилось ему иметь в те первые месяцы его службы здесь (не приходится и теперь). Жена его была постоянно измучена нянчаньем малюток; изнемогала и по несколько раз в день валилась как сноп куда попало: на кровать, на диван, на пол. Что ж ему было делать, как не помогать ей нянчиться с детьми? — Беспреданно приходилось ему то забавлять старшего малютку, то убаюкивать младшего. Я не видел, чтобы проходил у него хоть один час без этого, когда он был не в больницах (здесь две маленькие больницы) и не у больных — по домам.

Выхода из этого жалкого положения не предвиделось для Доброзраковых, пока Протопоповы не стали говорить, что собираются уехать из Вилюйска. По разным надобностям, из которых наиболее важными, если не ошибаюсь, были частные надобности г-жи Протопоповой (она была беременна; удобной обстановки для трудного разрешения от бремени здесь невозможно иметь:

ни порядочной постели, ни хорошей температуры в комнате, ничего подобного; а г-же Протопоповой было предсказано врачами в Иркутске, что следующие роды ее будут трудны), — итак, сказал я, по разным надобностям, в особенности, кажется, по личной надобности г-жи Протопоповой, г-н Протопопов подал прошение, чтоб ему был дан четырехмесячный отпуск для поездки в Иркутск, и надеялся, что ему не будет отказано в том. Когда Протопоповы заговорили об этом, Доброзраковы ожили духом: няня Протопоповых не может выехать из Вилюйского округа; она останется в Вилюйске; они возьмут ее к себе. И она уж не отойдет от них, если бы даже и возвратились Протопоповы из Иркутска: они (Доброзраковы) позаботятся обращаться с нею и ее хилыми старшими так, что эти люди уж не захотят расстаться с ними. Правда, в денежном отношении это будет довольно тяжело для них (Доброзраковых): лишних расходов по домашнему хозяйству нет у них и теперь; экономность няни Протопоповых, которая будет заведывать хозяйством и у них (Доброзраковых), сделает в этом мало разницы. А жалованье няне и содержание ее с двумя старшими ее сделает прибавку к нынешним расходам их (Доброзраковых) рублей до двадцати в месяц. А денег у них очень мало. Но лучше они сами будут терпеть нужду, лишь бы избавиться от мучительной нынешней своей жизни, имея такую превосходную няню.

Действительно, жалованье здешнего медика очень невелико. А доходы от практики какие ж могут быть в Вилюйске, который меньше и беднее русской деревни средней величины, не сравнивая уж его с русским селом. Притом же г-н Доброзраков не торгуется о плате с больными, которых пользуется; это я должен сказать в честь ему; я не позволяю моим отзывам о качествах людей быть в зависимости от того обстоятельства, кто нравится, кто не нравится мне, кто хорошо расположен ко мне, кто нет. Мои личные чувства к человеку, приятные или нет — сами по себе, мои мнения о качествах человека не зависят от того. — Итак, я сказал: Доброзраковы действительно живут довольно скудно. Но — хоть и действительно тяжеловаты будут им те лишние двадцать, по их счету, — пятнадцать, по моему соображению, рублей расхода в месяц, — денег на это у них все-таки достанет, — думал я, и, разумеется, не ошибался: в крошечном городишке все жители знают до мелочности аккуратно, сколько у кого из них дохода и расхода. Я, натурально, не интересуюсь помнить эти их рассуждения о чужих карманах, — но невозможно ж совершенно ничего из этих — самых изобильных — сюжетов их бесед не припомнить в случае надобности. И я сообразил: да, расход на няню Протопоповых с ее хилыми старшими не превышает денежных средств Доброзраковых; а что он будет несколько тяжеловат для них, правда; но тем больше и делает чести их здравому смыслу, что они решаются на него.

И, услышавши от них об этом их намерении, я сказал, что очень рад за них; это они вздумали умно, и это будет очень хорошо для них.

Г-н Протопопов получил отпуск; ждал приезда чиновника, который будет прислан исправлять его должность во время отлучки его. — Это было в начале февраля нынешнего года.

Доброзраковы сказали мне: дело с нянею Протопоповых улажено. Они просили ее поступить к ним; Протопоповы посоветовали ей принять их предложение (после это оказалось пустой фантазией Доброзраковых: г-жа Протопопова дала своей няне совершенно противоположный совет; она советовала ей не принимать предложения Доброзраковых); няня согласилась. Она поедет проводить Протопоповых до границы Вилюйского округа, передвижение по которому свободно для нее по закону; возвратится и перейдет со своими хилыми старшими к ним (Доброзраковым). Я сказал, что очень радуюсь этому за них.

Около 20 февраля г. Протопопов покончил сдачу должности присланному исправлять ее вместо него чиновнику. Я пришел проститься с Протопоповыми вечером перед утром, когда был назначен их отъезд. Утром будет у них толпа, я не бываю в толпе; в толпе здешние люди чрезмерно неприятно для меня держат себя. Протопоповы — это надобно ставить в большую честь им — не делали попоек для своих гостей; — зато здешние люди и не любили бывать у них толпой. Но при таком торжественном случае, как проводы, Протопоповы не в силах будут не покориться требованию здешнего приличия и дадут вино прощающимся с ними гостям. Потому на проводах у них быть я не захотел и пришел проститься с ними вечером перед тем, когда у них — рассчитывал я — не будет никого. У них и действительно не было никого. Они не ждали, что я приду проститься с ними (вообще, я этого не делаю, потому что не соблюдаю никаких церемоний здешнего — изумительного, разумеется — бонтона). Они были рады мне. Я был очень расположен к г-же Протопоповой, простой и очень добродушной женщине; она была в совершенном упадке духа от боязни, что она не перенесет трудностей дороги (она была в последних месяцах беременности). Я стал развлекать ее, ободрять ее. Просидел у них очень долго. — О том, что их няня перейдет к Доброзраковым, они не упомянули ни одним словом. Я тогда не обратил на это внимания. Я не имел интереса вспоминать о их няне; знал от Доброзраковых, что дело это решено; рад был тому за Доброзраковых; а сама няня со своими старшими нимало не интересовала меня. И выйти в зал не случилось ей тогда. Так и не заметил я, что у Протопоповых нет речи о переходе ее к Доброзраковым.

Прошло не помню сколько дней по отъезде Протопоповых, — недели полторы, быть может. Я зашел к Доброзраковым. Его не было в городе; он опять отправился, по своей должностной обя-

занности, осматривать больных по округу. Г-жа Доброзракова сказала мне, что няня Протопоповых, провожавшая их, как было условлено и как я знал, возвратилась в город и завтра перейдет со своими хилыми старшими жить к ней. Она была в восторге от этого. Прекрасно. Только не догадался я сообразить, что в словах г-жи Доброзраковой нет упоминания о том, что няня Протопоповых, по своем возвращении, виделась с нею или хоть бы прислала кого к ней известить о своем приезде. Не догадался я даже и спросить, когда же возвратилась няня. Я подумал: няня только что вот вернулась в этот вечер: женщина пожилая — и не совсем, казалось мне по ее лицу, здоровая, она утомлена поездкою и хочет хоть одну эту ночь полежать спокойно, соснуть хорошенько, прежде чем опять по десяти раз в ночь вставать для убаюкивания детей. Этим своим соображением я и удовлетворился. С тем и ушел от г-жи Доброзраковой.

Захожу к ней на другой ли, на третий ли, на четвертый ли день. Она встречает меня словами: «Я не знаю, что это такое присылает в ответ мне няня Протопоповых. Я посылала спросить ее, когда она перейдет ко мне; она отвечала: может быть, зайду завтра повидаться с нею, только не знаю, досуг ли мне будет зайти к ней: я чиню рубашки мужу и тетке; это много работы, едва ли кончу завтра. — Прошел тот день, когда она обещалась прийти ко мне» — это говорит г-жа Доброзракова, а я думаю: «О-го, это она, по-вашему, обещалась; она очень ясно, только в учтивой форме отвечала вам, что не придет и повидаться с вами». Г-жа Доброзракова продолжает: «Когда прошел тот день, я опять послала к ней. Она прислала в ответ: я теперь мою свое белье, завтра буду мыть белье для одного чужого семейства. Если будет мне досужно, зайду к ней завтра, только едва ли успею». Это сообщает мне г-жа Доброзракова. Я говорю ей: «Напрасно вы не понимаете этого. Это ясно. Она не хочет поступать в услужение к вам». — «Да как же нет? она тогда согласилась, у нас дело было решено». Я говорю: «Так ли? Точно ли она согласилась тогда?» — «Ах, да, да».

Я припомнил: Протопоповы, когда я виделся с ними в последний раз, не упоминали, что их няня перейдет к Доброзраковым. А если бы они полагали, что будет так, то по ходу разговора было много таких случаев, что не могли б они забыть упомянуть об этом. Ясно: их няня говорила им, что не пойдет в услужение к Доброзраковым, и они не говорили мне об этом потому, что если бы говорить, то пришлось бы сказать в объяснение тому что-нибудь дурное о Доброзраковых. А когда так, то я знаю, что такое дурное о Доброзраковых пришлось бы им сообщить мне. От других я слышал не раз, что г-жа Доброзракова капризна и бестолкова в обращении с прислугой. Я думал прежде, что это одна из бесчисленных пустых сплетен, которыми увеселяет себя, как всякая подобная Видлюйску небольшая деревушка, этот миниа-

турный город. Но уж довольно задолго до отъезда Протопоповых мне стало видно, что это не совсем-то сплетня.

Г-жа Доброзракова была, когда я пришел, уж в большом унынии от странных для нее ответов няни Протопоповых на ее приглашение перейти к ней. Когда я растолковал ей, что напрасно старается она не понимать ясного смысла ответов няни, она впала в совершенное отчаяние. Плакала, говорила всяческую скорбную бессвязицу. Собравшись с мыслями, заговорила: «Пожалуйста, сходите к ней, уговорите ее». — Почему это уговаривать няню должен именно я, — думал я, слушая эту ее долго тянувшуюся без пауз просьбу. Если бестолковая амбиция бедняжки так велика, что не позволяет ей самой зайти к той женщине, то она имеет знакомых гораздо более близких, чем я, и они — люди более влиятельного положения, нежели я: чиновники, купцы, почетные люди, слова которых важнее для простолюдинки, нежели мои. Их убеждения скорее подействуют на нее. Улучив, наконец, паузу в упрямствовании г-жи Доброзраковой, я сказал: «Попросите Жукова или кого другого из ваших близких друзей переговорить с нянею. Каждый из них важнее для нее, чем я; каждого она скорее послушает, нежели меня». Она стала говорить, что меня считают в городе человеком честным, и моим словам верят. Что ж, это правда: в городе знают, что если я даю кому какой совет, то даю его бесхитростно. Я сказал бедняжке: «Извольте, пойду к няне Протопоповых. Где живет она?» — «В кухне дома, где жили Протопоповы». Это казенный дом, служащий квартирою для исправника. Чиновник, принявший должность от Протопопова, человек одинокий, ехавший в Вилюйск лишь на четыре месяца, не привез хозяйственного обзаведения с собою, потому еще не мог поселиться в этом доме; дом стоял пустой, и тот чиновник позволил бывшей няне Протопоповых с ее старшими оставаться жить там в кухне, пока он устроится хозяйством и переселится с другой квартиры в исправнический дом.

Я пошел от г-жи Доброзраковой к няне Протопоповых. Растворяю дверь кухни; Катерина Николаевна, стоявшая у печи, лицом к двери, увидев, что входящий — это я, радостно вскрикивает: «Родной ты мой! уж как мы желали, чтобы ты пришел к нам!» Маленькая старушка, тетка ее мужа, сидевшая на лавке, вскакивает, произносит восклицание в том же смысле, с таким же задушевным, только менее порывистым, чувством (она уж очень хила, да и от природы характер ее, как я увидел после, менее живой, чем у Катерины Николаевны). Такого приема я не мог ожидать; что эти люди любят меня, как родного, — с какой же стати мог бы я предполагать? — Однажды я учтиво, как со всеми, поговорил с Катериною Николаевною; — только и всего было до этой минуты между мною и ними. Я был до глубины души тронут этой их любовью, но понять ее не умел. Постепенно это разъяснилось мне, и тогда я увидел в своих соображениях, что иначе и нельзя

было быть тому. Они всех людей своей веры любят, как родных, и натурально: всех людей их веры — четыре семейства, или родственные, или с детства очень дружные между собою; да две, три старушки, которые десятки лет прожили «через улицу» от домов тех семейств, и десятки лет были дружны с теми семействами. Невозможно ж было не быть между всеми людьми их веры совершенно родственному чувству. А я — оказался человеком тоже их веры; они убедились в этом совершенно достоверно, как только стали жить в одном со мною городе. Правда, я до посещения моего к Протопоповым не видывал их в глаза, да и они видывали меня разве лишь издали. Но они слышали, что я ни разу не заглядывал в здешнюю церковь; вероятно, слыхивали, что я и у себя в комнате не молюсь ни по православной вере, ни по какой раскольнической или молоканской, как же я не человек их веры? — Дело простое и несомненное. А я долго не мог вбить в голову себе такой, по-моему, абсурд, что их слова «ты из наших» не просто выражение дружбы и доверия, — чего я действительно стал достоин с их стороны, с минуты того радостного приема их мне, входящему к ним, не просто выражение нежного чувства, а слова, которые надобно понимать в смысле: «ты человек нашей веры». Разобрав, наконец, что смысл их слов действительно этот, наивный до неимоверности, я стал объяснять им, как только умел объяснять, не огорчая их религиозного чувства, что они ошиблись: я человек не их веры, я — человек неверующий. Они теперь, в свою очередь, долго не могли понять действительного смысла моих слов, что я человек неверующий. Они сами беспрестанно говорят о себе, что у них «нет никакой веры», это значит: те надежды, которые питают они, еще не осуществились. Эти их надежды — обыкновенные желания всякого не глупого и не гадкого человека, не вора, не разбойника: доброе согласие между людьми, честная, мирная жизнь всех людей. Но мы, обыкновенные люди, православные ли, католики ли, протестанты ли, или, как я, атеисты, — мы все только думаем, что жить людям в добром согласии, честно, мирно — было бы хорошо. А они надеются, что это очень скоро и осуществится: все люди станут добры, дружелюбны каждый со всеми. Словом, это простодушные мечтатели идиллического настроения мыслей. Собственно — в этом их «вера». Просто-напросто буколика во вкусе Фенелона или автора повести «Поль и Виргиния», милейшего и скучнейшего для всех нас, обыкновенных людей, Бернардена де-Сен-Пьера⁶. Но они простолюдины, и эта сущность их «веры» имеет действительно религиозный колорит, как всякие теоретические мысли русских простолудинов, и окружена, как и нельзя иначе быть тому у них, бывших прежде староверами иргизского «толка», остатками кое-каких староверских обычаев и кое-какими собственными их изобретениями во вкусе тех же обычаев, — например, хоть оригинальным их правилом, относящимся к обычаю пожатия рук при

взаимном приветствии всяческих обыкновенных людей. Это ребяческие изобретения. Но о них после. Возвращаясь к объяснению их слов, что — у них нет «веры». Сущность их веры — та идиллия всеобщего мира, доброжелательства, честного душевного спокойствия. Эта идиллия еще не осуществилась. То есть, выражаясь нашим языком, языком образованных людей, мы можем правильно сказать: «их вера еще не осуществилась». Они, простолюдины, не умеют выразиться так и говорят, что у них «нет веры». И вот они долго понимали в этом же смысле мои слова им, что я человек неверующий. А когда поняли, наконец, действительный смысл моих слов о моем неверии, они, полюбивши меня уж не по фантастической только причине, как было прежде, но и как действительно любящего их человека, все-таки остались при своей мысли: «ты из наших». Катерина Николаевна, наиболее даровитая из них и, при всем своем безграмотнейшем невежестве, женщина действительно большого природного ума, нашлась, как примирить мое неверие с их верою. «Ну, что ты говоришь пустяки-то, что ты не из наших? Не веришь в бога, — ну, коли не веришь, то не веришь, а нас ты все-таки любишь, стало быть, ты все-таки, по-настоящему говоря, нашей веры; брат ты мне, так и остаюсь при этом, сколько ни говори, что не родной ты мне». И ее хилые старшие согласились, что так.

Но это было уж в апреле. Здесь надобно было рассказать об этом, чтобы ясно было, с какими людьми начал я беседовать, пришедши в первый раз к ним, какие с той же минуты, как я вошел, установились отношения между нами, и почему эти отношения остаются и теперь прежние с их стороны, хоть иллюзия их относительно мнимых моих религиозных убеждений рассеялась.

Когда я и обе женщины мы подошли друг к другу, я протянул руку Катерине Николаевне; — она сложила свои руки на груди так, что обе кисти ее рук оказались прикрыты. Я подумал, это шутовское прятанье рук, — в порыве радости, она хочет подшутить надо мною: не поймаю я ее руку. Я пожал ей руку, какая подвернулась, между локтем и кистью. Обернулся позвать руку тетке ее мужа. Та же история и со стороны старушки. Я понял таким же способом, и пожал ей руку тоже между локтем и кистью. Мы сели, начали разговаривать, я завел речь прямо о деле, по которому пришел, и не успел еще изложить моих соображений о нем, как вошел муж Катерины Николаевны, кряхтя от ничтожной тяжести маленькой охапки щепок, которые принес топить печь. Он положил охапку, я подошел к нему позвать руку. Он спрятал руки за спину и сказал: «Мы рук не даем». Так вот что! По их правилу, обычай пожатия рук грешен, или по крайней мере предосудителен, — понял теперь я, и сказал: «По-вашему, вы не можете позвать мне руку, а я вашу все-таки могу позвать», и пожал ему руку между кистью и локтем. Так это у нас и до сих пор. Они не огорчаются, что я жму их руки где-нибудь повыше

или пониже локтя, но кисти рук усердно прячут от моего пожатия. — Что это за правило у них, «мы не даем рук»? — То самое, что мог бы придумать пятилетний ребенок, принявшись мудрствовать над выражением «дать руку». Фома Павлович, — так зовут мужа Катерины Николаевны, — очень солидно и пространно растолковал мне в одно из последующих моих посещений, почему они «не дают руки». — «Видишь ли, дам я тебе что-нибудь, то у меня этого уж не будет: оно отдано. А рука мне самому нужна, и никому не могу дать мою руку. Ему на что моя рука? У него есть свои руки. А моя нужна мне самому».

Умно? — Да, умно. Только — как смеяться над такими ребяческими премудростями? Это безграмотные, совершенно темные, безграмотные люди. Не смеяться нельзя. Но, смеясь, думаешь: «бедные, бедные люди! Эткими-то премудростями своими устроили вы то, что вот вы — ссыльные в Вилуйском округе».

Да, в таких ребячествах их вся причина их беды. Правительство не причастно тому, что они подверглись этой беде. Правительство, сколько мог я разобрать из их рассказов, вовсе и не знало о их процессе и ссылке. То был маловажный процесс, который возник, и шел, и кончился обычным порядком всяческих дюжинных процессов. Правительство тут было ни при чем. — То хоть суд не порицаю ль я за их ссылку? Нет, как скоро возник этот процесс, суд не мог вести его иначе. Суд был прав по закону в своем приговоре над этими людьми. Так я думаю. И едва ли я ошибаюсь, думая, на основании их же собственных рассказов, что правительство было нимало не причастно их процессу, а суд вел этот процесс правильно, добросовестно и вполне сообразно закону. Но, чем больше я беседовал с этими бедными, темными людьми, тем сильнее мне думалось: «Если бы правительство знало этих людей, оно не допустило бы возникнуть административному делу о них, или если б узнало их уж только по возникновении этого дела, повелело б администрации изорвать эти бумаги, освободить из-под стражи этих людей и впредь не тревожить их; или если б узнало их только уж когда начался судебный процесс о их деле, повелело бы суду прекратить этот процесс и отпустить домой этих людей». И у меня явилась надежда: «Если правительством будет узнано теперь, какие это люди, оно отменит судебный приговор о них, совершенно правильный по закону этот приговор, оно отменит его; помилует этих бедных, темных людей; помилует их, хоть и виновных по закону, — бесспорно, виновных, помилует их».

Помилует их, если будет им узнано о них. Но от кого может узнать оно о них? — Только от меня. А оно должно считать меня врагом своим, человеком, имеющим личную ненависть к государю моей родины. Так оно должно думать обо мне; думать обо мне иначе не имеет оно права, по тем сведениям, какие имеет оно обо мне,

Но, что ж, пусть так, пусть я человек, ненавидящий государя моей родины. Но я не обманщик. Быть может, правительству известно обо мне, что я не обманщик. И если это известно ему, то мое ходатайство о них может послужить ему основанием для помилования их.

И я решил беседовать с ними часто, по многу часов, пока приобрету от них сведения о них настолько отчетливые и полные, насколько это необходимо для того, чтобы правительство могло хорошо ознакомиться через меня с этими, имеющими безусловное доверие ко мне, потому вполне откровенными со мною, людьми.

Для того, чтобы мне бывать у них часто и подолгу, мне было все равно, в чистой ли комнате у Доброзраковых будут жить они, или в этой грязной кухне, куда я пришел, — грязной лишь потому, что отчистить эти ветхие стены, этот ветхий пол от грязи многих десятков лет не могли они, не могли бы сотни людей, хоть бы при помощи машин; иначе они привели бы ее в прекрасную чистоту. Но если это было все равно для меня, то я должен был исполнять, как могу усерднее, поручение г-жи Доброзраковой, принять которое на себя согласился ей.

Я уговаривал их в несколько приемов, давая им отдохнуть от этой темы разговора беседую со мною о чем им угодно другом, обо всем на свете, о чем им приятно говорить. Я провел таким образом у них часа четыре, если не больше, и добился в конце этого продолжительного посещения моего только того успеха, что Катерина Николаевна сказала мне: «Вы немножко поколебали мои мысли, но не хочу жить у нее, все-таки не хочу». — «То я приду к вам завтра уговаривать вас, Катерина Николаевна, еще и еще». — «Не хочется мне и слышать об этом». — «А все-таки приду». — «Приходи, мой родной». — Они перепутывают в словах своих, обращенных ко мне, «вы» и «ты»; при обыкновенном тоне речи, говорят мне «вы», при задушевной интонации слов, говорят «ты». Это вообще так у простолюдинов их лет и их сословия, зажиточного мещанского или крестьянского сословия.

Я пришел на другой день, опять пробеседовал с ними очень долго, обо всем на свете, о чем приятно было им говорить, постоянно возвращая разговор с этих всяческих эпизодов на уговаривание Катерины Николаевны поступить в няньки к Доброзраковым.

Мои аргументы были:

«Вас, Катерина Николаевна, я не променяю на них. Жаль мне их, но не в этом теперь дело. У вас очень мало теперь денег, в этом теперь дело, все дело для меня. Я хочу теперь уж только того, что полезно вам. Вам необходимо перейти жить к ней. Вам нечем жить».

Я говорил искренно. Что значили теперь для меня надобности Доброзраковых сравнительно с моим желанием полезного этим моим действительно друзьям?

У них сбережено было несколько из денег, полученных ими от Протопоповых. Рублей пятьдесят. Но надолго ли станет пятидесяти рублей кормиться ими трем людям, при цене ржаной муки с мякиною 2 р. 50 копеек пуд? — А никакого другого места, кроме как у Доброзраковых, не предвиделось. Возвратятся ли Протопоповы, было неизвестно, — это вообще, а лично мне было известно: не возвратятся. Они говорили это мне по исключительному доверию ко мне. Не знай я этого от них, я не был бы так настойчив.

Катерина Николаевна, как и все, не знала, возвратятся ли они, и желала надеяться, что возвратятся. Если бы я ждал того же, я с первых же ее слов при этом втором моем посещении перестал бы уговаривать ее.

— Здесь жить нам нечем. То проживем четыре месяца до приезда Протопоповых в ночлеге. Там будут давать нам содержание. Будем наполовину голодать, но четыре месяца претерпеть это мы еще в силах. Лучше это, чем жить у Доброзраковых. Обидчица она. Сама переносила 6 обиды, чтобы сыты были мои старик со старухой. Но она будет обижать и их, а их я в обиду не дам.

Но г-жа Доброзракова молода, дурное в ней от ее молодого неразумия. Она будет, вероятно, становиться рассудительнее, приобретая житейскую опытность. Я хотел помогать ей образумливаться от ее фанаберии. Да уж и привелось ей много мучиться. Она рыдала. Может быть, уж и готова исправляться.

Так я думал, так и говорил Катерине Николаевне. И наконец, в это второе посещение, добился-таки, она сказала: «Хорошо: для тебя, пойду завтра поговорить с нею, может быть, и сговоримся с нею».

— Когда придете к ней, пришлите их слугу за мною, — сказал я: — буду помогать ей держать себя с вами умно.

На другое утро они прислали за мною. Когда я пришел, они уж сговорились. Г-жа Доброзракова держала себя перед Катериною Николаевною не как госпожа перед нянькою, а как младшая приятельница перед старшею. Катерина Николаевна ушла собирать свои вещи, чтобы перейти с своими мужем и теткою к Доброзраковым.

Несколько дней г-жа Доброзракова показывала уважение к Катерине Николаевне. Приехал г. Доброзраков, должен был, как отдохнул с дороги, ехать снова в другую часть округа. Жена поехала с ним, в восторге, что теперь она свободна. Хотела отдать все ключи от кладовой и чуланов с провизиею Катерине Николаевне. Катерина Николаевна остереглась взять, и сказала мне: «Она пока еще хорошо держит себя. Но не надеюсь на ее рассудительность. Окажешься у нее, пожалуй, воровкой». Поездка длилась недели две. Возвратились Доброзраковы. Г-жа Доброзракова была исполнена благодарности к Катерине Николаевне. Так

прошло еще несколько дней. Всё вместе с того дня, как поселились мои друзья у Доброзраковых, это составило месяц.

Младший сын Доброзраковых, бывший таким хилым, что они полагали: малютка умрет, — он поправился в этот месяц так, что они успокоились за его жизнь.

Катерина Николаевна пожелтела и похудела: так ухаживала она за этим малюткою. Как не спускала с рук она его, так старший сын Доброзраковых находился постоянно при муже и тетке Катерины Николаевны. Подле матери я вовсе не видывал его, кроме как за обедом. (Я, приходя к ним после моего обеда, иногда заставал их обедающими.)

Г-жа Доброзракова нежилась теперь, совершенно свободная располагать как угодно своим временем. Ее здоровье становилось цветущим.

Одно было у нее опасение. Пришло известие, что г-жа Протопопова умерла на дороге. В городе стали говорить: Протопопов только по желанию жены хотел искать себе службы в Иркутске; теперь ему хлопотать об этом не для чего, сам он не скучал в Вилюйске и был доволен своею здешнею службою, он возвратится сюда. Г-жа Доброзракова встревожилась: «Протопопов возвратится, няня с мужем и теткою перейдут к нему. Несчастлива буду я». — Теперь я видел, что г-н Протопопов может покинуть свое прежнее, тогда решительное, как он по доверию говорил мне, намерение искать службы в Иркутске, не возвращаться сюда; действительно, это было главным образом желание его супруги, а теперь он, быть может, и думает, что для него самого все равно, где служить. Я спросил г-жу Доброзракову, почему она полагает, что няня, в случае возвращения Протопопова, перейдет к нему. Няня говорила ей это? — «Нет, няня говорит не так, няня говорит, что, согласившись служить у меня, не переменит этого ни из-за каких денег; пусть Протопопов будет предлагать ей сколько хочет, она ни на какие деньги не польстится». — «Напрасно ж вы тревожитесь, когда она сказала так». — «Ах, она обманет». — «Нет, это не такие люди, она и ее родные, чтобы давать обещания и не исполнять их». — «А тогда, обманула ж меня: согласилась, а после отказывалась перейти ко мне». — Я стал снова толковать ей, что дело было вовсе не так. Няня слышала о ней, что она дурно обращается с прислугой, потому с первого же раза отвергла ее приглашение учтивыми, но совершенно ясными словами. «Ах, это напрасно верите вы ей, что я дурно обращалась с прислугою». — «Извините, не от нее первой услышал я это. Раньше, чем я в первый раз увидел ее, я слышал это от всех моих знакомых, об этом говорил весь город. Сначала я защищал вас, думая, что это преувеличение. Но помните вот такие-то случаи», — я перечислил несколько: — «после этих случаев, я принужден был согласиться, что мои знакомые говорили мне правду. И помните: я предупреждал вас, что если вы будете поступать так с прислу-

гою, никакой якут, никакая якутка не будет уживаться у вас и вперед, как не уживались прежние якуты и якутки. Помните, всё было раньше отъезда Протопоповых. Уговаривать няню вы поручили мне уж после того. Я уговорил ее тем, что сказал ей: эта женщина молодая, она еще может исправиться, и я надеюсь, что она исправится. И я полагаю, вы действительно исправились. Правда, исправились?» — «Ах, я так благодарна няне, могу ль я обращаться с нею дурно? Иль они говорили вам, что я обращаюсь с ними дурно?» — «О-го! — подумал я: она должно быть, уж принялась за прежнее». — «Ничего такого от них я не слышал. А когда вы сама замечаете, что подаете им причины к недовольствию, то я думаю, не состоит ли одна из этих причин вот в чем: вы заставляете хилого старика ездить за водою, это работа слишком тяжелая для него». — «Вот прекрасно! Да разве он больной?» — «А разве не говорили мы с вами об этом? И неужели вы сама не видите этого?» — «Муж не замечал». — «Ему вдвойне непростительно не видеть этого. Он медик». — «Что ж он не просит мужа лечить его?» — «Это люди деликатные. Как станет он просить, когда не может платить за лечение? Ваш муж видит, что он болен, но не интересуется лечить его». — «Но все-таки уж он может работать». — «Может или не может, но вы помните: вы сама говорили, что нанимаете в услужение только няню, а ее муж и тетка будут только жить на вашем содержании, и услуг от них вы совершенно никаких не будете требовать». — «Как же я кормила б их задаром?» — «Уговор был таков». — «Ах, нет». — «Извините. Этот уговор был у вас со мною». — «А няня не условливалась об этом со мною». — «Раньше, чем условливаться с нею, вы условились об этом со мною. Вы помните?» — «Ах, да». — «Я с тем и пошел к ней в первый раз, правда?» — «Ах, да». — «Вам приходилось условливаться с нею только о том, пять или шесть рублей вы будете ей платить». — «Да». — «Итак, вы, по условию, не имеете права требовать никаких услуг от старика и его тетки. Правда?» — «Да; но они сами стали ухаживать за детьми». — «Они сами, потому что они люди добрые». — «Ах, да». — «При нуждать старика ездить за водою вы не должны. Это слишком тяжелая для него работа». Она замолчала. «Обращайтесь с ними хорошо, и они не уйдут от вас, если даже и возвратится Протопопов». — «Они жаловались вам на нас?» — «Нет». Я действительно не слышал от них ни одного слова жалобы. «Ах, они, я думаю, много нажаловались вам на меня». — «Слушайте: вы знаете или нет, чем я интересуюсь: учеными вещами, или расспросами о том, как живут здесь люди?» — «Нет, о том, что делается здесь, вы не любите слушать, вы ученый, вам это скучно». — «О чем же я говорю с нянею, ее мужем и теткою?» — «О их вере». — «А о вас было бы скучно мне говорить с ними, правда?» — «Правда». — «Наймите какого-нибудь якута возить вам воду, это будет стоить 50 копеек в месяц». — «Даже меньше». — «Тем лучше. Старика

не посылайте за водою. Не требуйте от него и тетки никакой работы. Сколько могут, они и добровольно делают». — «Ах, да. Я благодарна им». — «Не обижайте их и няню, и они не уйдут от вас к Протопопову, если он возвратится». Она успокоилась.

Прошло несколько времени. Исполнился месяц, как няня и ее старшие стали жить у Доброзраковых. В этот месяц я бывал в квартире Доброзраковых обыкновенно через день, иногда по два, по три дня сряду. Небольшую часть времени я просиживал с Доброзраковыми для соблюдения учтивости, большую часть времени просиживал в кухне с моими друзьями.

Итак, прошел месяц. Прихожу в первый день второго месяца, — это было воскресенье после дня пасхи, 8-е число апреля. Вхожу в комнату г-жи Доброзраковой; вижу: подле нее старший ее сын. Этого не бывало во весь тот месяц. Я подумал: «Прекрасно. Отдохнувши, занялась детьми». Здравуюсь с нею; вижу: г-на Доброзракова нет дома; вижу: в соседней детской Катерина Николаевна нянчится с младшим малюткою. Пошел, поздоровался с нею. Поговоривши о чем-то пустячном минуту-две с г-жою Доброзраковою, встаю, чтоб идти в кухню к старику и его тетке. Г-жа Доброзракова останавливает меня словами: «Не ходите в кухню; родных няни там уж нет. Вчера кончился месяц, как они стали жить у нас, и вчера же няня отослала их жить не знаю куда-то, должно быть, опять в кухне исправнического дома». Я был изумлен. «Должно быть, новый исправник, — то есть тот одинокий чиновник, исправляющий должность за Протопопова во время его отпуска, — переманивает няню быть у него экономкою. Это будет ей выгоднее. Он получает больше жалованья, чем муж, и он не имеет семейства. Он может платить ей больше, чем мы. Вот она уж и отослала тех жить там. А сама пока еще остается. Но уйдет и сама». Катерина Николаевна отвечает из детской на эти слова: «Напрасно вы говорите, барыня. Исправник нас не приглашает. Вы знаете, у него нет такого хозяйства, чтоб кухарка была нужна ему. Он здесь на короткое время и не обзаводится своим хозяйством. Я сказала вам, что остаюсь у вас и останусь. Содержать моих стариков было убыточно вам, я и отослала их. Только поэтому отослала их». Я заговорил о чем-то другом, постороннем, чтоб не дать г-же Доброзраковой продолжать говорить очевидный вздор, которым она окончательно испортит дело. Говорить с нею об этом деле, в котором она явным образом виновата, я хотел наедине с нею. Теперь няня слышала бы мои назидания г-же Доброзраковой, и слушать их, зная, что они слышны для няни, был бы слишком тяжело для ее фанаберии. Итак, я твердо вел разговор о посторонних, пустячных вещах, никак не давая г-же Доброзраковой свернуть на разглагольствования о ее поступке, изумившем меня: бестолкова она, но такой быстрой порчи ее домашнего удобства я все-таки не ждал от нее. И я думал: мои назидания ей наедине еще могут поправить дело.

Вернулся домой г-н Доброзраков. Пришел посторонний человек, приятель Доброзраковых. Я все вел разговор о вещах посторонних, чтоб не дать г-же Доброзраковой пуститься в разглагольствования о няне. Но сплосал; начавши закуривать папиросу, замолк на несколько секунд. Г-жа Доброзракова воспользовалась паузой и пустилась опять в свои рассуждения, что Шахурдин (фамилия того чиновника) переманивает няню, и т. д. без конца. Катерина Николаевна слушала, слушала, вышла из детской в зал, где сидели мы, и сказала г-же Доброзраковой: «Я молчала о том, как вы обижали моих старика и старуху, а сама хотела терпеть все от вас, только просила вас не злословить о нас при посторонних. Вы обещались. А вот уж и забыли обещание. Прощайте. Я пришлю мужа за моими вещами». — Поклонилась и ушла.

Я не слышал после от г-на Доброзракова ни одного слова, сколько-нибудь похожего на то, что он и его жена были хоть сколько-нибудь неправы перед моими друзьями.

Каково было жить им у Доброзраковых, можно судить по одному из результатов моего знакомства с Доброзраковыми. Вскоре после того, как начал бывать у них, я заметил, что им приятно, когда я, выпив стакан чаю, говорю, что второго стакана пить не буду, прошу не наливать. Если так, рассудил я, то лучше не пить у них и первого стакана. Но пить чай у других знакомых, а у Доброзраковых не пить, то будет понято всеми, видящими это, почему я не пью чаю у Доброзраковых. И я перестал пить чай у всех, у кого бываю, кроме людей, у которых бываю так редко, что не выпить чаю у них было бы обидою им.

Я не говорю, что Доброзраковы — дурные люди. Но в них слишком много бестолковости.

Натурально, что с того дня, как ушла от них Катерина Николаевна, я совершенно охладел к ним.

Мои друзья переселились в баню того, все еще стоявшего пустым, дома, на кухне которого жили прежде. Кухня была теперь занята бедным семейством, жившим прежде в бане. Люди того семейства были больны, когда жили в бане: воздух в ней слишком тяжелый. И мои друзья стали изнемогать в ней. Потому переселились в якутскую юрту, за которую платят 30 копеек в месяц. Воздух в ней, как во всякой юрте, нехорош; это зависит от самого способа постройки юрт; но миазмов, как в бане, в этой юрте нет.

Я бываю у моих друзей два-три раза в неделю; а иногда и два-три дня сряду.

Но теперь, когда они рассказали мне уж почти все то, что надобно было узнать для составления записки о их процессе, я буду, может быть, лениться посещать их так часто, как делал это до сих пор.

Ознакомится по их рассказам с характером и ходом дела, кончившегося ссылкой их по судебному приговору в Сибирь, было задачею очень хлопотливою, взявшею очень много времени у меня.

Все трое они люди умные. Катерина Николаевна — женщина даже очень умная. Но все трое они люди темные, темные. Мало того, что они безграмотные. Они не знают многого такого, что известно большинству безграмотных горожан. Например, они не знают, что «коллежский ассессор» чин менее высокий, нежели «генерал». К ним в тюрьму приезжал какой-то «коллежский ассессор», начальствовавший над «генералами» и бывший, кроме того, «начальником над двенадцатью губерниями». Много ли могли понимать в своем процессе такие темные люди?

Вот как прекрасно понимали они, за что судили их: их судили за то, что они «таковые». В бумагах, которые были читаны на суде, разумеется, часто попадалось местоимение «таковые», канцелярская форма разговорного местоимения «такой»; и должно быть, это местоимение часто относилось к ним; они и узнали из этого, что их судят за то, что они «таковые».

Богатенкова и бывших с ним судили раньше, нежели моих друзей и бывших с ними. — За что судили тех? — За то же самое: за то, что они «таковые».

Получив такие сведения, разумеется, должен был я постараться разъяснить для себя эти удивительные сведения. И много раз шел у меня с моими друзьями разговор вроде следующего:

«Таковые» это книжное слово, которое значит то же самое, что попросту говорится «такие». — «Так, теперь знаем; вы растолковали». — «Вас судили за то, что вы «таковые». Чтобы выходил какой-нибудь смысл, надобно было в тех бумагах прибавлять к этому слову какое-нибудь другое». — «Правда. Теперь понимаем. Там говорилось о нас «таковые ж». — «И этого мало; надобно было там прибавлять еще что-нибудь. О вас там говорилось, что вы «таковые ж», как кто еще?» — «А, правда. Там говорилось, что мы «таковые ж, как Богатенков». — «Хорошо. А Богатенков был какой же?» — «Стало быть, «таковой же», как мы». — «И действительно, мысли и поступки Богатенкова были одинакие с вашими?» — «Надо полагать, одинакие». — «Полагаете, стало быть, не знаете, а только полагаете?» — «Да нам об этом не приходилось до сих пор подумать хорошенько. Следовательно тогда сказал нам: вы, должно быть, такие ж, как Богатенков? — мы и сказали: такие ж. Сказали и только. О чем тут думать. А вот теперь и поняли мы: из этих-то наших слов и вышло, что нас судили за то, что мы таковые». — «Хорошо. Вы сказали следовательно, что вы такие ж, как Богатенков. О чем именно вы думали, когда согласились с тем следователем, что вы такие же, как Богатенков?» — «Мы думали о том, что его все считали добрым человеком. Ну, и нас все в Дубовке считали тоже за добрых людей. Да кто ж и не добрый-то у нас в Дубовке? Добродушный у нас там народ. Случись бурлаку захворать на судне, стащат его на берег, бросят. В других местах он так и лежит, покуда придет полиция, подберет его. В Царицыне это так». — «О Царицыне не

слышал я, когда ребенком гулял по берегу в Саратове, видел, что в Саратове тогда это было так». — «Ну, и в Царицыне так. А у нас в Дубовке это не так. У нас, кто первый увидит его, тот и возьмет к себе и ухаживает за ним. У нас в Дубовке весь народ добрый». — «И православные там добрые?» — «А то как же?» — «О молоканах-воскресенниках я прежде, давно, от всех слышал, что они добрые люди. Правда и по-вашему?» — «А то как же? Субботники, вот те скупы». — «Хорошо. Воротимся опять к вашему делу. Следовательно спросил вас, такие ли вы, как Богатенков. Богатенков был добрый человек, вас тоже называли добрыми людьми; вы и сказали, что вы такие ж». — «Ну, да; кому ж охота отказываться от того, что его называли добрым человеком?» — «Хорошо; вы думали об этом, а следовательно об этом ли думал, когда спрашивал вас?» Мои друзья задумываются. Катерина Николаевна через две-три секунды говорит: «Ну, да чего тут! Видно теперь, не об этом он думал, когда мы уж разобрали теперь, что из этого вышло, что нас судили за то, что мы таковые. Теперь-то видно; а тогда-то мы не поняли, что такое выйдет о нас из тех наших слов». — «Грустно мне за вас, Катерина Николаевна; да что грустить-то? Лучше посмеюсь над вами». — «Посмейтесь. И я посмеюсь».

Это я привел только для примера, как приходилось мне толковать с моими друзьями, чтобы доискиваться смысла в их рассказах о вещах, совершенно чуждых кругу их знаний. Само собою понятно, что не во всяком их рассказе было так легко отыскать действительное его значение, как в их словах, что их судили за то, что они «таковые». И само собою разумеется, их приговорили к ссылке в Сибирь вовсе не за то, что они подтвердили следователю его мысль, что они такие ж, как Богатенков. Нет. Суд был прав, постановляя свой приговор о них. Мои бедные друзья говорили в самом суде такие вещи, за которые суд не мог не признать их виновными в преступлении, наказываемом по закону ссылкой. Судебный приговор над ними был правилен, я уж говорил, что вполне признаю это, и что ходатайство мое за них — лишь ходатайство о помиловании людей, нисколько не опасных правительству, миролюбивых и добрых людей, бедных темных людей, достойных сострадания и помилования.

Вилуйск
25 мая 1879

Н. Чернышевский.

ЗАПИСКА ДЛЯ ЕГО ВЫСКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
Г-НА ШЕФА ЖАНДАРМОВ,
СОСТАВЛЕННАЯ Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Когда я задумал умолять его величество государя императора о помиловании моих друзей Фомы и Катерины Чистоплюевых и Матрены Головачевой, и сделалось потому надобностью мне составить записку о них для представления правительству, я стал готовить материалы для нее следующим способом:

Я записал то, что помнил из рассказов, которыми мои друзья в прежних наших разговорах знакомили меня с причинами постигшей их судьбы. Все существенное для предположенной мною работы было уж тут, потому что мои друзья с первой же минуты нашего знакомства были совершенно откровенны со мною. Оставалось проверить точность моих воспоминаний и пополнить их подробностями, необходимыми для связности изложения. Это потребовало много времени.

При начале нашего знакомства я расспрашивал моих друзей о их процессе; после, гораздо дольше, о предмете более интересном для ученого, о догматике их веры; удовлетворив и этому моему любопытству, я перестал давать направление разговору, предоставляя моим друзьям вести его о том, о чем занимательно им самим говорить. А это, разумеется, не имеет ничего общего с их процессом. Любимые темы их разговоров — обыкновенные темы разговоров рабочих людей, необразованных людей, пожилых людей. Как все рабочие люди, они любят говорить о своих рабочих занятиях: Чистоплюев толкует о своих прежних промыслах (рыбной ловле, лоцманстве по Волге); женщины рассказывают о своем прежнем домашнем хозяйстве. Как все люди необразованные, они неистощимо толкуют о своих недавних личных впечатлениях, о своих текущих личных делах: бесконечны их рассказы о том, как жили они у Протопоповых, и о том, что делали вчера, ныне. Подобно всем пожилым людям, любят они припоминать, как шло их детство, как веселились они в молодости. — Когда я сделал мои основные заметки и должен был проверять и пополнять их, мои друзья уж привыкли, что разговор идет все лишь о таких вещах, и лишь изредка, по моим случайным вопросам, мимоходом касается чего-нибудь иного, иногда в числе всего иного и их процесса.

Я не хотел делать никакой заметной перемены в этом. Иначе, мне пришлось бы сказать моим друзьям о моем намерении. А я не хотел говорить им о нем преждевременно. Конечно, я не опасался уменьшить через это сообщение им их откровенность со мною. Если б они и захотели скрытничать, им уж нечего было скрывать от меня. Но они и не захотели бы, я имел достаточные основания быть уверен в том. Я хотел, пока можно, молчать им о моем намерении просто потому, что не хотел преждевременно тревожить их. Они беспокоились бы и за себя, и еще больше за меня; воображали бы, что задуманное мною может подвергнуть их неприятностям, а меня великим бедам. И я думал: скажу им, когда будет надобно. А через несколько времени рассудил: надобности в том и не будет. При моем прошении о них — правительству не нужно прошение от имени этих темных, безграмотных людей. А когда незачем мне писать прошение от их имени, то и незачем говорить им о моем намерении.

Потому я наводил их на надобные мне рассказы лишь изредка.

Когда делал это, записывал по возвращении домой то, что относилось к моей работе.

Само собою разумеется, я с одинаковою заботливостью вносил в мои материалы как те места из рассказов моих друзей, которые могут служить в их пользу, так и те, которые показывали мне законность произнесенного над ними приговора, и равно заботливо переносу из моих заметок в эту записку данные того и другого рода. Я не мог не понимать, что правительство найдет надобным сравнить мою записку с подлинными актами процесса, в числе подсудимых по которому были мои друзья, и другого процесса, последствием которого был их процесс, и найдет заслуживающим своей поддержки мое моление к его величеству государю императору за моих друзей только нашедши, что и преступное в их прошлом выставлено мною на вид все сполна.

Это о моих правилах при составлении настоящей записки. Что же касается моих друзей, правительство, конечно, видит по предисловию к этой записке, посланному мною раньше, и будет видеть по ее содержанию, что мои друзья действительно не имели — прибавлю: и остаются нежелающими иметь — никаких тайн от меня, никаких умолчаний передо мною. Да они, как я говорил, и не знали — прибавлю: и остаются и, насколько от меня зависит, останутся незнающими — ни о чем, относящемся к моему намерению умолять его величество государя императора о даровании помилования им. Люди, сокрушенные своими страданиями, они преувеличивают в своих скорбных мыслях свои вины, воображают себя заслуживавшими за них смертной казни, и поймут, что могут быть помилованы, только когда будет им объявлено, что они помилованы.

Н. Чернышевский.

Процесс, в числе подсудимых по которому находились Фома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева, был последствием процесса Акима Богатенкова и других, судившихся вместе с ним. Потому, прежде нежели говорить о Фоме и Катерине Чистоплюевых, Матрене Головачевой и других, судившихся вместе с ними, надобно сказать об Акиме Богатенкове и других, судившихся вместе с ним.

Число лиц, содержащихся под стражею по делу Акима Богатенкова, было пятнадцать человек. Все они были жители посада Дубовки.

Это были два родственные между собою семейства, оба принадлежавшие к разряду богатых дубовских промышленников.

Вот список этих пятнадцати лиц:

Аким Романов Богатенков;
жена его Прасковья Григорьева;
дети их: Авдотья;

второе дитя, дочь, имени которой я не старался удержать в моей памяти;
третье дитя, дочь, имени которой не умели припомнить мои друзья;
Ульяна;
Поликарп;
Катерина;

Василий Парфенов Киселев;

жена его Анна Гаврилова;

дети их, четыре человека: три девочки и один мальчик. Имен двух из девочек не умели припомнить мои друзья, два другие имени не старался я удержать в моей памяти;

младший брат Василия Киселева, Давид Парфенов Киселев.

Из этих пятнадцати человек самостоятельных людей было пятеро; именно:

Аким и Прасковья Богатенковы.

Василий и Анна Киселевы, Давид Киселев.

Я полагаю, только они пятеро и были подсудимы.

Из детей Богатенковых и Василия и Анны Киселевых никто, я полагаю, не был причисляем к подсудимым ни администрацией, ни судом. Все они были только, с разрешения начальства, оставляемы по желанию своих родителей, при своих родителях, в местах заключения родителей, — так я полагаю. Сомнение, по-моему, возможно лишь относительно старшей дочери Богатенковых, Авдотьи. При начале процесса она была уж взрослою девушкою; потому администрация и суд могли причислить ее к подсудимым, бесспорно, имели право. Но, я полагаю, не причисляли, потому что, я убежден, имели справедливость принимать в соображение, что молоденькая, хоть и взрослая девушка при родителях, в семействе, хоть и богатом, но совершенно простонародных нравов, несамостоятельный человек. — Впрочем, с практической стороны, вопрос об Авдотье Богатенковой индифферентен: девушка умерла во время процесса.

Соображения о числе подсудимых лишь мои собственные соображения. Причислялся или нечислялся к подсудимым кто из детей Богатенковых или Киселевых, моим друзьям не случилось слышать. А им самим, людям безграмотным, никаких вопросов о числе подсудимых по делу Богатенкова не приходило в голову. Конечно, они знают, что очень маленьких мальчиков и девочек не судят. Дальше того их юридические сведения не идут, и если бы спросить их, как они думают о том, причислялись ли к подсудимым по делу Богатенкова двенадцатилетние или четырнадцатилетние девочки, они не знали бы, что отвечать. Ни о каких подобных вопросах не случалось им думать.

Итак, я полагаю, подсудимых по делу Акима Богатенкова было пять человек, а именно:

Аким и Прасковья Богатенковы; Василий и Анна Киселевы; Давид Киселев.

Перехожу к подробностям о них.

Аким Богатенков был кожевенный заводчик, человек с большим состоянием. К первоклассным богачам Дубовки он не принадлежал. Но все-таки его состояние было такое, что его знала вся Дубовка.

Состояние свое приобрел он сам. Он был из семейства простолюдинов, жившего, для простолюдинов, безбедно, как жило тогда и после — вероятно, живет и теперь — большинство простолюдинов, даже и простых «рабочих на берегу» (чернорабочих на пристани) в Дубовке, но не имевшего денежных запасов. Женился на девушке из такого же семейства. И начал в молодости свой кожевенный промысел с очень маленького размера. Но был человек способный, деятельный, заслужил своею честностью общее доверие всех, с кем имел дело, быстро стал становиться зажиточнее и зажиточнее и скоро достиг возможности жить, не расстраивая своего состояния, на широкую ногу.

Ему самому жизнь на широкую ногу не была бы нужна. Он был тихого темперамента, и «разговор у него, — по выражению моих друзей, — был тихий». До вина, в котором состояла для мужчины в Дубовке главная приятность многочисленных собраний, он был не охотник, такой не охотник, что почти вовсе не пил ни простого вина, ни виноградного.

Но он очень любил жену. А она была живого характера, охотница наряжаться, ездить по гостям, охотница до всякого честного веселья. «Он и угождал ей во всем, — по выражению моих друзей. — И у себя давал частые угощения в угождение ей, и на угощениях у других беспрестанно бывал с нею в угождение ей. Все это было от нее, от Прасковьи Григорьевны, вся их широкая жизнь».

Впрочем, хоть и «богатые», по выражению моих друзей, были у них угощения, хоть часто пировали у них многочисленные собрания гостей, это обходилось им не бог знает в какие большие деньги: это была дешевая жизнь на широкую ногу, чисто мужицкая. Только немногие первоклассные богачи в Дубовке жили тогда «по-господскому» в домах с «клетчатыми» полами (паркетными) и тому подобными обыкновенными принадлежностями жизни не бедных людей цивилизованных классов. У этих первоклассных богачей и обеды или ужины были «с поварскими кушаньями». Но первоклассные богачи держались своим особым, довольно замкнутым кругом. Богатенковы к этому кругу не принадлежали. Их многочисленный круг приятельства имел обычай зажиточных мужиков. И изобилие их пирушек было мужицкое: ешь и пей вволю, но кушанья — простой стряпни, вино, главным образом, просто-напросто водка; в небольшом количестве какие-нибудь дешевые

виноградные вина, и тоже, как водки, сколько хочешь рома, самого дешевого, при питье чая.

Мужицкая это была жизнь на широкую ногу. Но, по-мужицкому, это была жизнь на широкую ногу, изобильная шумом и весельями.

Иной жизни, кроме мужицкой, никто в Дубовке, кроме тех немногих первоклассных богачей да двух-трех дворянских семейств, державшихся особо от остального зажиточного или богатого общества, и не знал близко, и не желал. Дубовка в те времена еще оставалась тем же самым, чем была, — как знал я по слухам, когда жил в Саратове, — в годы моей молодости: оставалась, как прежде была, огромною деревнею с чисто мужицкими обычаями и понятиями. По всем улицам были хороводы круглый год, были кулачные бои, не зимою только, как в подгородных слободах городов, но и летом, и на боях этих шли «стена на стену» не какие-нибудь люди, презиаемые массою населения, как в подгородных слободах, нет: почтенные, солидные люди добродетельной жизни, именитые купцы с седыми бородами, в компании своих сыновей. А полиция? — Полиция в Дубовке была тоже патриархальная. Как бывало в годы моего детства в отдаленных концах Саратова, так оставалось в Дубовке двадцатью, тридцатью годами позже того: полицейские были по своим обычаям и понятиям те же самые деревенские люди, с восторгом любовавшиеся на кулачный бой, а кому из них бог дал силу и ловкость, становившиеся в «стену» калашников против «стены» тулупников или семинаристов против мясников. Это было в дальних улицах слободы «на горах» в Саратове, лет сорок и тридцать пять тому назад. Я сам видел это, ходивши раза два-три посмотреть, как дерутся на кулачных боях мои товарищи семинаристы. А в Дубовке полиция была очень малочисленна. И там пятнадцать — двенадцать лет тому назад вся жизнь шла все еще чисто по-деревенскому.

Тем, что обычаи в Дубовке были мужицкие, объясняется и возможность людям с какими-нибудь тридцатью, много — пятидесятью тысячами оборотного капитала, как Богатенков, давать частые «богатые» угощения многочисленным гостям, не расстраивая своего состояния. Несколько пудов мяса, несколько ведер водки, полдюжины бутылок дешевого рома — вот и все расходы на «богатый пир».

Понятно, что за всеми расходами на пирушки, на «щегольские наряды» Богатенковой — три, четыре шелковые платья в год, рублей по тридцати платье, вероятно, вот было и все ее «щегольство» — за всеми расходами на «роскошную» жизнь у Богатенковых оставалось много свободных денег из годичного дохода. Они употребляли эти деньги хорошо.

Они были очень добрые люди. Не скучали подолгу говорить с приходившими к ним бедными, утешая их, поддерживая их благоразумными советами, и щедро помогали им деньгами.

Так прожили они много лет. Люди их состояния все были в хорошем приятельстве с ними. Бедные любили их. Вся Дубовка уважала Акима Романовича и Прасковью Григорьевну, умных, честных, добрых людей.

Думается: так бы и жить им. Так бы и жили они, пока длилась бы их жизнь, если бы не были они, при искреннем и сильном религиозном чувстве, людьми невежественными.

Он умел читать, да и то лишь с большими запинками, умел писать, насколько это необходимо по торговым счетам богатого промышленника. Тем и ограничивались его ученые знания. Читать он, сколько мне видно по фактам в рассказах моих друзей, не читал ничего, кроме своих торговых счетов. Достоверно видно мне, что он, человек очень религиозный, не имел даже и самой маленькой начитанности по религиозной части. А жена его вовсе не умела ни писать, ни читать.

Оба они родились и выросли, как большинство жителей Дубовки, в старообрядчестве — собственно так называемом старообрядчестве, по точному употреблению этого слова у ученых писателей православной церкви; в том старообрядчестве, которое на простом языке у православных называется «поповской сектою», или «поповщиною».

Иргизские монастыри, бывшие прежде главными источниками религиозных сведений старообрядцев того края, уж не существовали, когда Богатенков и его жена становились людьми не первой молодости. «Беглые попы», бывшие священниками у старообрядцев, исчезли. И когда у Богатенковых, после долгих лет, проведенных в веселостях, стало развиваться влечение к думам о религиозных вопросах, уж довольно давно не было в Дубовке людей, у которых могли бы хоть немножко научиться религиозному знанию дубовские старообрядцы, в массе своей люди почти или вовсе безграмотные. И не с кем было посоветоваться о своих религиозных думках Богатенковым, когда они, доживши до немолодых лет, стали задумываться в религиозном направлении.

Как в прежнем их хлебосольстве и веселом образе жизни, так и в повороте их мыслей к религиозным думкам инициатива принадлежала жене.

Когда была подрастающею девушкою, Прасковья, ставшая после, по замужеству, Богатенковою, воображала, как это бывает со многими подрастающими, но еще не сформировавшимися девушками, что никогда не будет у нее желания слушать и говорить о любви, считала себя предназначенной от бога к девственной жизни; мечтала, что ей хочется идти в монахини, и готовилась в своих мыслях к тому. (В те годы еще существовал на Иргизе старообрядческий женский монастырь.)

Подраставшая девушка сформировалась, полюбила хороводы, и позабыла о своем душеспасительном плане. Веселилась; вышла замуж и продолжала веселиться, все лучше и лучше, по мере того как увеличивались у мужа средства доставлять удовольствие страстно любимой жене.

Лет в сорок, даже лет в тридцать, женщины из простонародья начинают считать себя уже старухами. Когда Богатенкова дожидла до этих лет, в ней стали воскресать давно забытые мысли о суетности земной жизни, и она стала постепенно охладевать к веселостям, погружаясь в думы о душевном спасении.

Развитию этой перемены в ней несколько содействовало случайное обстоятельство.

Однажды она со старшею дочерью (Авдотьей), побывавши в гостях (вероятно, ездивши с визитами), вздумала, прежде чем вернется домой, прокатиться. Она была одета очень нарядно. Она увидела, что навстречу ей идет, очевидно направляясь к ее экипажу, какой-то незнакомый старичок, одетый бедно. Все знали ее как женщину очень сострадательную и щедрую к бедным, и часто случалось, что бедные, увидев ее проезжающею, подходили попросить денег. Она подумала, что этот бедно одетый старичок хочет попросить у нее пособия, и велела кучеру остановить лошадей. Старичок подошел, но вместо того чтобы попросить, как она ожидала, пособия у нее, сказал: «Будет, Прасковья Григорьевна, довольно, оставь», — то есть: будет тебе вести такую жизнь, какую ведешь ты; довольно; оставь наряды, роскошь и веселье; сказал это и пошел прочь.

Сначала назидание старичка не произвело особенно сильного впечатления на Богатенкову. Она была даже настолько рассудительна, что не нашла надобным признать незнакомого старичка боговдохновенным тайноведцем из-за того, что он, незнакомый ей, умел правильно назвать ее по имени и отчеству и оказался знающим ее любовь к нарядам, роскоши, веселью и ко всякой такой греховной суете, которая подразумевалась в его увещании: «будет; довольно; оставь». Она понимала: старичку не мудрено было знать все это и без откровения от бога; все в Дубовке знают ее мужа и ее, ее склонности, образ жизни ее мужа и ее; да и встретил-то ее старичок нарядную, катающуюся, в хорошем экипаже, запряженном хорошими лошадьми. Не удивилась она и тому, что она не знала этого старичка: ее мужа и ее знают все в Дубовке; но ее мужу и ей возможно ли знать всех бедно одетых старичков в Дубовке? Дубовка велика; и бедно одетым старичкам, бродящим по Дубовке, счету нет.

Так рассудила было на первый раз она, умная и честная женщина, не делавшая в своей жизни ничего дурного; рассудила было, как следовало рассудить умной женщине, которой не в чем упрекать себя. И не приняла было к сердцу наглого назидания старого идиота или тартюфа. Не поинтересовалась даже узнать,

кто он. В первые дни ей легко было бы отыскать его, если б захотела. Но она не захотела. И осталось неизвестно ей, кто был он.

Умно было рассудила она. Но жалкие, темные люди, такие невежды, как она и ее муж, хоть и умевший, чего не умела она, кое-как писать и с запинками прочитывать свои счета, сколько куплено невыделанных кож, сколько продано выделанных. Несчастливая, темная женщина, невежество пересилило-таки ее природный ум; и через несколько времени стали ее мысли поддаваться душе-спасительному наставлению боговдохновенного — возможно ли сомневаться? конечно, боговдохновенного — старца.

Много помогла этому дочь. Дочери могло быть во время встречи со старичком лет двенадцать или четырнадцать. Случай, против которого хорошо было устоял сначала ум матери, поразил мысли девочки. Ребенок приставал к матери с вопросом: «Маменька, о чем это говорил тебе старичок, чтобы ты бросила это?» — Когда мать объяснила, девочка постигла премудрую справедливость душеспасительного назидания и при случаях частенько-таки принимала на себя заботу о душевном спасении матери: «Маменька, помнишь, что говорил тебе старичок?»

Роскошь и веселье — суета и грех. Все русские простолюдины воспитаны в этом вероучении, все; старообрядцы или православные не делают разницы в том: одинаково воспитаны в этом вероучении все русские простолюдины, от мужиков до купцов. Что могла возразить дочери безграмотная мать? Что мог возразить отец? Что могли отвечать отцу и матери благочестивой девочки их знакомые, слышавшие от них, что говорит девочка? — И старообрядцы, и православные, все их знакомые были такие же темные люди, как они; одинаково с ними считали эту премудрость о суетности и греховности роскоши и веселья бесспорною, божественною истинною; и могли только подтверждать в один голос: «да, это так»; хотели ль, или не хотели, но должны были подтверждать: «да, это так».

В чем была разница между ними, православными ль, или старообрядцами, все равно, и Богатенковыми? В словах не могло быть никакой разницы, одно и то же, совершенно одно и то же по необходимости было на устах и у них у всех, как у Богатенковых. Разница была только та, что к толпе применяются слова Иеговы у пророка: «Люди этими устами своими чтут меня, и устами своими приближаются ко мне, сердце же их далеко от меня», — а Богатенковы не хотели заслуживать этого укора от бога.

И начала развиваться перемена в образе жизни Богатенковых. «Не то чтоб это произошло от слов того старичка, — говорят мои друзья. — Но нельзя сказать, чтоб не было тут участия слов старичка».

Они люди умные и понимают, что сам по себе тот случай недостаточен для объяснения перемены в мыслях и в образе жизни

Богатенковых. Но они вовсе не такие люди, чтоб уметь анализировать факты психической жизни. Им не приходило в голову даже и то, что коренная причина всему — сильное религиозное чувство, лежавшее в самом характере Богатенковой. Они не догадывались припомнить для объяснения дела тот факт, что Богатенкова, когда была девушкой, готовилась итти в монахини. Этот факт рассказывают они по совершенно иному поводу, для характеристики дружеских отношений Богатенковой с женщиною, о которой мне придется говорить после. Монашество имеет в глазах простолюдинов главным своим качеством тот признак, что монашествующее лицо отрекается от семейных уз. А Богатенкова, любящая жена и мать, не имела ни малейшей охоты забывать свои семейные обязанности; душеспасительная жизнь, в которую завлеклась она и завлекла своего мужа, нимало не нарушала, нисколько не видоизменяла их семейных отношений: она и ее муж продолжали жить друг с другом, как жили прежде, как живут все обыкновенные, любящие супружеские четы; продолжали заботиться о прокормлении, здоровье, воспитании своих детей, о хорошем устройстве их житейской доли, как заботились прежде, как заботятся все обыкновенные хорошие отцы и матери. Потому мои друзья не видят, что душеспасительная жизнь, которую изобрели себе Прасковья Богатенкова и ее муж — ни больше, ни меньше, как осуществление прежних девических мыслей Прасковьи Богатенковой, лишь смягченных ее чувствами хорошей жены и матери, и видоизмененных лишь настолько, чтоб они не мешали ей оставаться обыкновенною женою и матерью, какие бывают обыкновенные жены и матери в хороших, любящих семьях.

Не будучи по своей умственной неразвитости в состоянии видеть, что душеспасительные мысли, начавшие овладевать Богатенковою после той встречи со старичком, только возродившиеся прежние, девические мысли ее, мои друзья не имеют никакого объяснения существенному мотиву возникновения перемены в образе жизни ее и мужа. И по своей неразвитости не чувствуют никакой надобности объяснить себе это дело. «Вышло так; стало быть, была воля божия на то, чтобы вышло так», — это готовое у всех простолюдинов русской национальности мотивирование всего, что когда была то ни было происходило с кем бы то ни было из благочестивых людей, совершенно удовлетворяет моих друзей по делу о перемене образа жизни Богатенковых. «Так богу было угодно», — этим все сказано, все разъяснено вполне удовлетворительно для моих друзей. И думать тут, с их точки зрения, больше нечего, не о чем.

Им не любопытно размыслить даже и о том, в каком же именно отношении к воле божией о спасении души Богатенковых находилась мысль того старичка сказать Богатенковой назидание: «Будет, довольно, оставь». Что ж, в самом деле надобно полагать, что этот старичок был святой, пошедший, по непосредственному

повелению к нему от бога, встретить и изобличить нарядную, ка- тающуюся в щегольском экипаже Богатенкову? Или он был ханжа, тщеславившийся изобличением мирских людей, не преклон- няющихся перед его святошескими шарлатанствами? Или он про- сто-напросто старый дурак, наладивший твердить, кстати и не- кстати, всякому встречному и поперечному одно и то же, по рус- ской поговорке о таких дураках: «Наладила сорока Якова одно про всякого», не так ли? — Мои друзья отвечали на эти мои во- просы, что не умеют они решить, как тут следует полагать; они об этом не думали; да и нет надобности думать об этом. Кто был старичок — святой ли, или лицемер, или дурак; и почему он ска- зал свое назидание, по святости ли своей, по тщеславию ли, по глупости ли, — все равно: воля божия была на то, чтобы Бога- тенкова услышала это наставление и чтобы находилась тут при ней дочка, которая бы после напоминала ей об услышанной спасительной истине; воля божия и исполнилась. Довольно знать это. — Ответ совершенно удовлетворительный для всякого обыкновенного русского простолюдина. Мои друзья и довольст- вуются им.

Я попробовал ругать старичка как вредного, гадкого ханжу. Мои друзья соглашались, что таких святош много и что эти свя- тоши гадкие люди; и не имели ничего против признания ста- ричка одним из этих гадких людей, гадких и по их мнению, как по моему. Я пробовал, при другом разговоре, осмеивать старичка как бессмысленного дурака; мои друзья от души смеялись моим вариациям на тему поговорки о сороке, наладившей Якова, одно про всякого, и соглашались, что старичок мог быть просто-напро- сто бессмысленный старый дурак.

И правда: чему мешает, с их точки зрения, руганье этого ста- ричка как гадкого ханжи, или смех над ним как над дураком? — Всякий обыкновенный русский простолюдин скажет: это все равно, кто был старичок и что думать о нем. Воля божия была, чтоб он сказал Богатенковой то, что он сказал ей, и чтобы его слова подействовали на Богатенкову при помощи ее дочери так, как подействовали. Только то и важно. А знал ли старичок, что он тут орудие воли божией, и святое ли, или гадкое чувство было у него на душе, когда он говорил, или говорил он, как стрекошет сорока, — для сущности дела все равно. Сущность дела только в том, что богу было угодно так.

Мои друзья не только сами не имеют никакого определенного мнения о том неизвестном старичке, но и не знают, как думали о нем Богатенковы. Мое мнение, что Богатенкова, поразмысливши, под влиянием напоминаний от дочери о душеспасительных словах старичка, пришла, наконец, к мысли, что он был боговдохновен- ный тайноведец, — лишь мой собственный вывод из фактов. И мое мнение, что ее муж согласился с нею в этом ее убеждении, тоже лишь мой собственный вывод из фактов. — Мои друзья в такие

анализы не вдаются. Они люди умные от природы и о знакомых им хозяйственных делах любят размышлять, умеют размышлять вообще правильно, часто и очень умно. Но, при их темном невежестве, их ум изнемогает перед постановкою вопросов из сфер мысли, чуждых обыкновенному кругу знаний простолюдинов; им утомительно размышлять о таких вопросах, и они не думают разъяснять себе их.

Таким образом, они по своей житейской опытности понимают, что одно маленькое приключение не может перевернуть мысли и образа жизни человека, может лишь послужить поводом к проявлению перемены, независимо от этого повода производимой в человеке действием какой-нибудь другой, более сильной причины. Потому очень справедливо полагают, что перемена в мыслях и жизни Богатенковых не была произведена встречей Богатенковой со старичком, что этот случай лишь «был не без влияния» на ход перемены, а существенная причина перемены должна была быть иная. Но в чем же именно состояла эта существенная причина, мои друзья не думали никогда доискиваться сколько-нибудь определенительно и подробно, вполне довольствуясь общим готовым у всех простолюдинов решением всяких вопросов обо всем в жизни всяких людей: «так было угодно богу».

Инициатива в перемене мыслей и образа жизни Богатенковых принадлежала жене. Муж только следовал за женою по пути душевного спасения, как прежде, подчиняясь ее влиянию, давал пиры и ездил по пирам. Была, впрочем, я полагаю, значительная разница в характере его подчинения жене тогда и теперь. Разница состояла, я полагаю, в том, что прежде, когда он пировал и веселился, он подчинялся жене наперекор влечению его собственного темперамента к «тихому» образу жизни; а новое настроение мыслей жены совпадало с его природною склонностью жить без роскоши и шума. Но это опять лишь мое предположение. Мои друзья ничего об этом не знали от других, а сами они не вдаются в психологические соображения.

Я объясняю себе перемену в мыслях Богатенковой так:

Девушка живого, бойкого темперамента, имевшая сильное религиозное чувство, забыла думать о душевном спасении, увлекшись хороводами, весельями юности; девушка из очень небогатого семейства, она увлеклась новыми для нее удовольствиями щегольских и дорогих нарядов, хороших экипажей, блеска на пирах, когда, вышедши замуж, получала все больше и больше средств наслаждаться дорогими удовольствиями. Но, долго наслаждавшись ими, насытилась ими и пресытилась. И когда они порядочно и препорядочно надоели ей, стала овладевать ею ее природная склонность к серьезным раздумьям о жизни; а эти раздумья у нее, как и у всех русских простолюдинок и простолюдинов, имели религиозный колорит, потому что единственное воспитание русских безграмотных людей — вероучение. А религиозное чувство

у этой сильной и честной природы было действительно живое, искреннее и пылкое. Она и не могла остаться «чуждою бога» лишь «устаами своими» и лишь «устаами своими приближающегося к нему», как остается толпа людей, называющих себя набожными; не могла, как они, «остаться далека от бога сердцем своим».

«Блаженни непорочнии в путь ходящии в законе господни; блаженни испытующии свидения его, всем сердцем взыщут его».

И она взыскала господа всем сердцем своим.

И погубила себя? — Да. И себя, и мужа, верного спутника ее в «хождении путем закона господня». Неужды были они; старообрядцы, не имели они никого, сколько-нибудь образованного человека, с кем бы посоветоваться; не то, что священника с основательным богословским образованием, ни даже какого-нибудь «беглого попа», какие прежде бывали у старообрядцев, не было тогда у людей старой веры в Дубовке; не было, вероятно, и нигде подле Дубовки.

Через несколько времени после встречи с неизвестным старичком, — о которой, конечно, рассказывала Богатенкова всем своим знакомым, — она, при частых напоминаниях дочери о назидательном изречении старичка, стала по временам задумываться о своем душевном спасении. Эти раздумья, конечно, также были предметом ее разговоров с набожными женщинами ее круга. Таких женщин было, по всей вероятности, много в кругу ее знакомых. Потому что она была теперь уж в солидных, — по-простонародному, даже пожилых, — летах: ей было, по моему приблизительному расчету, лет около тридцати пяти, когда она услышала от старичка мудрое назидание. А подобные ей, вышедшие из бедного сословия и безграмотные купчихи ее лет, — конечно, наиболее частые ее собеседницы, — почти все причисляют себя к людям набожным. И кто из этих набожных женщин могли не поддакивать ее благочестивым разговорам о тленности суеты мирской, о греховности веселых, шумных развлечений?

На словах вся толпа людей того класса, лет двадцать, пятнадцать тому назад, была очень благочестива: почти все сплошь купцы и купчихи солидных лет в провинциях были таковы.

На деле иное. И когда оказалось, что Богатенкова с мужем не болтают только для пустословного хвастовства своим благочестием о своих набожных влечениях, а в самом деле заботятся вести душе-спасительную жизнь, тон хора дубовских благочестивых людей быстро переменился: хор одобрений благочестивым словам Богатенковых стал хором порицания образу их жизни, сообразному с их словами.

В Дубовке начали замечать, что Богатенковы реже прежнего дают пиры, реже прежнего бывают сами на пирах у других. Дубовка стала говорить, что это нехорошо.

Шло время, и перемена в их образе жизни становилась все сильнее и сильнее. Все реже и реже давали они пиры, реже и реже

посещали пиры других. Вовсе перестали давать пиры. Сами стали бывать у других лишь на таких пирах, от приглашений на которые нельзя было отказаться, не нанося тяжкого оскорбления чести приглашающего на свой пир семейства; по дубовским понятиям, такое качество имели в особенности приглашения на свадебные пиры: не приехать по приглашению на свадьбу, значило бросить тень на честь приглашающего семейства. Перемена все усиливалась. Наконец Богатенковы совершенно отстранились от всего круга своих прежних знакомств. Сами не ездили ни на чьи угощения и к себе перестали принимать гостей. Они принимали теперь к себе только бедных, приходивших просить у них денежной помощи, искать ласки и утешения себе от них. Много помогали они бедным и прежде. Теперь помогали еще больше прежнего.

И вся Дубовка осуждала их.

Вся Дубовка, говорили мои друзья. Я хотел с точностью определить для моего понимания смысл их выражения: «осуждала вся Дубовка». Переписываю из моих заметок относящийся к этому выражению отрывок разговора. — Мой вопрос: «Вы говорите, их осуждала вся Дубовка. Это, может быть, значит: все греко-российские (православные) осуждали их?» Ответ: «Нет, не то что все греко-российские; они тоже, все, но их в Дубовке было меньше; всего больше там староверов». Мой вопрос: «Неужели ж и все староверы тоже осуждали, как греко-российские?» Ответ: «И староверы, и греко-российские, и воскресенники (молокане), — все, как есть все». Мой вопрос: «Позвольте, однако: вы были тогда староверы». Ответ: «Ну да; так что ж? Мы, значит, не осуждали их, ты думаешь?» Мой вопрос: «Да, вот вы, я думаю, не осуждали; то выходит: не все же староверы осуждали. Разве не правда моя: стало быть, не все». Ответ: «Да нет же, все». Мой вопрос: «Да как же? А вы-то?» Ответ: «Эх ты, какой! Не понимаешь: да разве мы-то не осуждали их?» Мой вопрос: «Неужели ж?» Ответ: «А то как же?» Мой вопрос: «Осуждали и вы; теперь выходит так: все. Только: за что ж это все их осуждали?» Ответ: «За то, что они живут не так, как следует людям с их средствами; не дают угощений, не бывают на угощениях, как все богатые люди». Мой вопрос: «Позвольте, однако, бывают богатые и скупые. Эти не угощают; а иные из них и на чужие угощения не ездят, потому что и это расход, хорошая одёжа. То скупых не все же осуждают. Иной осуждает, а иной говорит: скупость не глупость». Ответ: «То совсем другое дело, когда богатые живут без роскоши по скупости. Таких многие хвалят за ум. А тут была не скупость причина, это было видно; помогать бедным не скупились же они». Мой вопрос: «Ну, так все осуждали их за то, что они сторонятся от веселостей; а вы за что осуждали их? Ответ:» «За то же самое».

Богатенковы не делали угощений, сами не бывали на угощениях у других. Но все еще продолжали жить, как люди с большим состоянием: оставались жить попрежнему в своем просторном, хо-

рошем доме; имели прислугу, держали лошадей. Через несколько времени все это показалось им лишнею роскошью. Они продали лошадей, отпустили прислугу, перешли жить в кухню своего дома, а дом заперли. Стали устраивать на дворе у себя землянку. Богатенков продал свое кожевенное заведение. Землянка была готова. Богатенковы перешли жить в нее. Дом сломали.

Богатенкова перестала носить щегольские наряды, стала одеваться, как одевались тогда в Дубовке пожилые женщины, не следящие за модами. Она и ее муж, когда встречались на улицах с прежними своими знакомыми, протягивавшими им руку, не подавали свою руку для пожатия, даже не кланялись в ответ на поклон. Люди, вступавшие в разговор с Богатенковым при встречах, замечали иногда, что он будто бы не слышит, когда они называют его по имени и отчеству. Он перестал стричь волосы; они у него отросли до плеч. Здоровье его было от природы не очень крепкое; теперь он стал очень худощав и, судя по виду, был в изнурении; поэтому надобно было полагать, что он много постится. Богатенкова имела от природы хорошее здоровье, и в ее лице не было заметно никакой перемены; она или не постилась, или постилась меньше, чем ее муж.

Люди с хорошим состоянием живут в землянке; у них явились небывалые ни у кого в Дубовке обычаи: они не подают руку для пожатия, они не отвечают поклонами на поклоны знакомых. Она, любительница щегольских нарядов, перестала щеголять. Он не хочет слышать, когда его называют по имени и отчеству.

Вся Дубовка изумлялась. Уж и прежде она порицала Богатенковых за их отчуждение от круга людей их состояния. Теперь вся она стала называть их «сумасбродами», «сумасшедшими»; хохотала над ними и полагала, что их сумасбродство — сумасбродство, в котором должно быть много дурного. В чем именно может состоять это дурное их сумасбродство, Дубовка не могла разобрать. Несомненно было для Дубовки только то, что дурное сумасбродство Богатенковых — какая-то дурная вера. Какая это вера — никто не знал. Некоторые, слышавшие, что есть на свете вера, называемая «хлыстовщиною», и что эта хлыстовщина — вера очень дурная, говорили, что Богатенковы стали, может быть, последователями этой веры, «хлыстами», как называются такие люди по-простонародному. Но и этим предположением вопрос о вере Богатенковых мало разъяснялся для Дубовки: никто в Дубовке не умел порядочно сказать, что ж за люди «хлысты» и в чем состоит их вера. Потому и догадка некоторых, что Богатенковы стали хлыстами, не представляя ничего понятного для Дубовки, не приобрела особенной популярности. Все держались только того мнения, что в чем бы ни состояла вера Богатенковых, эта вера дурная, и потому Богатенковы стали дурными людьми.

Вся Дубовка бранила их и смеялась над ними. И у Богатенкова, и у его жены были родные братья или родные сестры. Все

эти родные братья или сестры их разделяли всеобщее негодование против них.

Но не действовали на них ни порицания и насмешки всей Дубовки, ни укоризны ближайших родных. Они продолжали жить в землянке, совершенно чуждаясь общества; не подавали руку для пожатия при встречах, не отвечали поклоном на поклон.

Это длилось много времени. Сколько именно, не знают мои друзья с точностью; но полагают: больше двух лет. Если принимать это приблизительное воспоминание их за достаточно правильное, то получается такой расчет: кончилось житье Богатенковых в землянке на масленице 1866 года; следовательно, переселились они в землянку в начале 1864 года или в 1863 году; но рыть землянку, когда земля мерзлая, вещь слишком трудная, а в Дубовке хоть и очень теплый, по-русскому, климат, земля бывает мерзлою все-таки месяца три с половиною, месяца четыре, — от декабря до половины марта, или и дольше; потому едва ли следует допускать возможность, что Богатенковы устроили себе землянку в начале 1864 года; вероятнее, что они приготовили ее себе и перешли жить в нее летом или осенью 1863 года.

В 1863 году Богатенковой было лет сорок; едва ли меньше тридцати восьми; вероятнее, что сорок лет. Это определяю я по приблизительному расчету лет ее сверстницы, подруги ее детства, о которой буду говорить после. Был ли муж Богатенковой одних лет с женою или старше ее, мои друзья не знают. Но человек менее хорошего здоровья, чем жена, он казался на лицо старше ее. Да, вероятно, и действительно был старше, судя по тому, что обыкновеннейший случай таков: муж бывает несколькими годами постарше жены.

Житье Богатенковых в землянке продолжалось, как я говорил, до масленицы 1866 года. За несколько месяцев перед этою масленицею, осенью, — стало быть, осенью 1865 года, — построил на дворе Богатенковых подле их землянки другую землянку родственник Богатенкова Василий Киселев и перешел в нее жить с женою и детьми и младшим братом своим, еще неженатым юношею, Давидом.

Богатенковых я называл родившимися и выросшими в старообрядчестве. Это был факт, всем известный. Сколько могу судить, считаю вероятным, что и по церковным росписям, — так называемым «исповедным книгам», — имеющим значение юридических документов по вопросам о вероисповедании, Богатенковы были отмечаемы, согласно действительному факту, «принадлежащими к расколу».

Относительно Василия Киселева я считаю вероятным, что он значился по исповедным книгам в качестве православного. Я полагаю так по следующему соображению: мне кажется, что в те годы «раскольники» не могли быть избираемы в общественные должност-

сти; правильно ли помнится мне это, или нет, я не знаю; но думаю, это было тогда так. По крайней мере до 1860 или 1861 года это прежнее правило еще оставалось неотмененным, я помню, мне кажется, твердо. А Василий Киселев несколько раньше того, чем поселился в землянке, занимал, по выбору от дубовского общества, какую-то должность; был чем-то вроде «гласного дубовской думы». Не знаю, были ль в Дубовке должности, имевшие такое название на официальном языке. Но, во всяком случае, были какие-то выборные, которые в просторечии называемы были «гласными в думе», и Василий Киселев незадолго перед осенью 1865 года был одним из них. Потому я и полагаю, что по исповедным книгам он значился не «раскольником», а «православным». И, делая из этого вывод обо всем семействе, полагаю, что и жена Василия Киселева и брат его Давид были, подобно ему, отмечены в исповедных книгах состоящими в православии. Но если это и было так, то я убежден, что суд принимал за действительный факт общеизвестный факт, а не фикцию. Если эти лица значились по исповедным книгам православными, то была лишь фикция. По такой фикции огромные массы старообрядческих семейств, все предки которых с самого возникновения раскола держались старообрядчества, были с самого возникновения исповедных книг постоянно помечаемы в этих книгах, из поколения в поколение каждый год вновь и вновь отмечаемы, как принадлежащие к православному исповеданию. В давние времена, если обнаруживалось по какому-нибудь случаю несоответствие факта с этою фикциею, возникало из того дело «об отпадении от православия». Но я убежден, что в 1866 и следующих годах судебная власть уж не подвергала раскольников, значащихся по исповедным книгам православными, никакой юридической ответственности за существовавшую относительно их фикцию церковных росписей. И я убежден, что если Василий Киселев, его жена и его младший брат считались по церковным отметкам православными, то суд имел снисходительность не взводить на них юридической ответственности за «отпадение от православия». На факте они были люди из старообрядческого семейства. Факт этот был общеизвестен. Да и то надобно сказать: только тем обстоятельством, что эти люди были воспитаны в старообрядчестве, обуславливалась возможность им сделаться последователями Богатенковых. Православные никаким образом не могли бы стать подражателями Богатенковых. Все мысли и поступки Богатенковых — чисто старообрядческие, лишь более или менее видоизмененные искреннею и сильною религиозностью этих — слишком, к своему несчастью, невежественных — добрых и честных людей, думавших исключительно о своем душевном спасении и, по своей темной беспомощности в теологических раздумьях, додумавшихся до глупости, погубившей их. Никто, не бывший старообрядцем, последователем Богатенковых сделаться не мог.

Киселевы были в близком родстве с Богатенковым; в каком именно, мои друзья не знают с достоверностью; но им кажется, что они слышали: Богатенков был дядя Киселевых.

Киселевых было три брата. Василий был второй из них по летам, Давид — младший. Старший брат не разделял увлечений Василия и Давида мыслями и аскетическою жизнью Богатенковых и, сколько я могу судить, был оставляем администрациею и судом совершенно нетревожимый по их делу, как человек, нисколько не причастный их нелепостям. Потому я не старался удержать в моей памяти его имя.

Киселевы были прежде не менее или даже и более богаты, чем Богатенков. Но несколько времени жили с такою роскошью, которая превышала их средства. Потому их состояние несколько расстроилось, говорила дубовская молва. Впрочем, они, кажется, все-таки оставались людьми богатыми. Какие были имущественные отношения между тремя братьями, моим друзьям не случилось хорошенько слышать. Но, сколько могу я сообразить, считаю возможным предполагать, что отцовское наследство еще не было разделено между ними и что промышленные дела фирмы вел главным образом старший брат; и что когда Василий и Давид перешли жить, по примеру Богатенкова, в землянку, старший брат оставил все не разделенное имущество в своем управлении, так что в руках у Василия и Давида не было больших денег. Я нахожу возможным думать так потому, что дубовская молва, говоря о нелепой сцене, устроенной Богатенковыми и Василием Киселевым, его женою и братом Давидом, рассказывала, что при этой сцене, кончившейся арестованием всех, участвовавших в ней, у Богатенкова были отобраны очень большие деньги, — больше двадцати тысяч рублей, а относительно Василия Киселева с женою и братом молва выражалась только так: «И у них тоже были отобраны деньги, какие были у них»; такой небрежный способ выражения о количестве находившихся при Киселевых денег показывает, по моему мнению, что дубовская молва полагала эти отобранные у них деньги незначительною суммою.

Впрочем, очень возможно объяснять незаботливость дубовской молвы об определительности выражения относительно количества денег, отобранных у Василия Киселева с его женою и его братом Давидом, просто только невнимательностью Дубовки к этим сподвижникам Богатенковых; так что, быть может, мой вывод о незначительности отобранной у них суммы, основанный лишь на незаинтересованности дубовской молвы этими деньгами, ошибочен.

Дубовка очень мало интересовалась переселением Василия Киселева с женою, детьми и братом в землянку и дальнейшими делами с судьбами их. Дубовка считала их не более, как подражателями Богатенковых, и они были заслонены Богатенковыми от ее внимания.

Потому моим друзьям не случилось слышать ничего определенного о характерах Василия Киселева, его жены и его младшего брата. А сами они так мало видывали их, что даже не умели ничего отвечать на мой вопрос, много ли моложе Богатенковых были Василий Киселев и его жена. «Может быть, моложе, а может быть, и не моложе», — говорили они мне. Я сказал моим друзьям, что думаю: были моложе и много моложе; потому что дети Василия и Анны Киселевых были, конечно, много моложе, чем дети Богатенковых; это я вижу потому, что ни об одном из детей Василия и Анны Киселевых не попадалось мне упоминания, как о взрослом ребенке, а о младшем малютке их попадалось упоминание, что эта девочка при начале процесса была новорожденным младенцем; при том же: третий из трех братьев Киселевых, Давид, был при начале процесса юношей: разница лет между вторым и третьим братом не могла ж составлять, например, лет двадцать; а если она была, как это вероятно, много меньше двадцати лет, то второй брат, Василий, был много моложе Богатенкова, которому при начале процесса было, вероятно, лет сорок пять или и вовсе под пятьдесят, если судить по годам его жены. Мои друзья принялись рассчитывать; сумели досчитаться, что я рассчитываю годы Богатенковой правильно; припомнили, что у Давида Киселева еще не было, кажется им, усов и бороды, когда они видывали его на улицах, незадолго до той масленицы; предположили поэтому, что Давиду Киселеву было при начале процесса лет девятнадцать; подтвердили мое соображение, что старшие дети Василия и Анны Киселевых были много моложе, чем старшие дети Богатенковых; заключили изо всего этого, что, должно быть, Василий и Анна Киселевы действительно были, как я предполагаю, моложе Богатенковых; но кончили тем, что все-таки не сумели разобрать, много или не много моложе Акима Богатенкова был Василий Киселев, моложе Прасковьи Богатенковой была Анна Киселева. Дело известное, что простолюдины очень неискусны угадывать лета людей, вышедших из юности и еще не дослости. Двадцатипятилетняя женщина очень может к глаза хоть даже пятидесятилетней, и, наоборот, пнюю могут легко принимать они за двадцатипяти. мужчины, как только обрастет он бородою, разгаде мудренее.

А Киселевых мои друзья видывали очень мало, мимоходом, на улицах, и, подобно всей Дубовке, очень ... ресовались ими.

И кроме того, что я уж говорил, моим друзьям случилось о Киселевых лишь очень немногое.

По своим промышленным занятиям Киселевы, подобно тенкову, были кожевенные заводчики. После имели они завод выделки того сорта столовой горчицы, который употребителен России под названием сарептской горчицы.

Я говорил, что Дубовка очень мало интересовалась участием Василия Киселева с женою и братом Давидом в душеспасительном подвиге Богатенковых. Только однажды, при самом начале своего подражания Богатенкову, Василий Киселев привлек к себе изумленное внимание. Случай этот был такой.

Вскоре после того как Василий Киселев покончил срок своей службы в той должности, на которую был выбран обществом, пришел к нему, жившему еще в своем доме, как живут все, и еще казавшемуся Дубовке совершенно обыкновенным неглупым человеком, как все на свете обыкновенные неглупые люди, кто-то из самых мелких служащих того учреждения, в котором он за несколько времени служил выборным; это был или сторож, или рассыльный, или кто иной, подобный тому, вовсе маленький, сравнительно с зажиточным промышленником, человек. Зашел он к Василию Киселеву или по какому-нибудь своему делу, или просто затем, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение и услышать дорогое для маленького человека приветливое слово от человека важного. И как следует маленькому человеку, начал свой разговор с Василием Киселевым обыкновенным у простолюдинов способом начинать почтительные разговоры, именно словами: «Батюшка Василий Парфеныч...» На этих словах и остановил Василий Парфеныч речь своего посетителя, спокойно, кротко и солидно возразив: «Я не Василий и не Парфеныч». Посетитель вытаращил глаза: Киселев, очевидно, не пьян и, судя по спокойному выражению глаз, находится, слава богу, как всегда был до сих пор, в здравом уме; что ж это такое сказал он? Посетитель постоял с разинутым ртом, с вытаращенными на Киселева глазами; оправившись от удивительной реплики, проговорил: «Батюшка Василий Парфеныч, кто же вы, как не Василий Парфеныч Киселев?» Киселев с прежнею спокойною солидностью отвечал: «Не знаю». Посетитель сказал: «Батюшка Василий Парфеныч, как же вы не знаете, кто вы; вы — Василий Парфеныч Киселев». Киселев с прежним спокойствием повторил: «Нет, я не Василий, и не Парфеныч, и не Киселев, а кто я, не знаю». Посетитель постоял, посмотрел на него, покачал головою и ушел. С кем встречался из знакомых, пересказывал удивительный случай. Пересказы быстро разошлись по Дубовке. Дубовка дивилась, хохотала, повторяла курьезный рассказ и снова хохотала. Из того, что я буду говорить после, будет видно, какой смысл придавал Василий Киселев своим нелепым ответам. «Я не Василий, и не Парфеныч, и не Киселев», это значило: «употреблять имя, отчество, фамилию во втором лице — не годится: употреблять эти слова можно только, когда мы говорим об отсутствующих, а когда мы говорим с кем-нибудь, мы должны говорить ему просто «ты», «вы», «друг», а имя и фамилия его тут вовсе лишние слова».

Кажется собственно по этому случаю Дубовка припомнила и поняла, что Богатенков уж давно не отвечает на приветствия ему

по его имени и отчеству; случаи с Богатенковым выходили, должно быть, менее рельефны: к нему обращались с этими приветственными названиями по имени и отчеству при встречах с ним на улицах, и то, что он не принимает приветствий ему по имени и отчеству, стусевывалось, вероятно, предположением, что он вообще не хочет вступать в разговор, что, должно быть, собственно лишь по нежеланию вступать в разговор проходит мимо, не принимая приветствия, будто не слышит. Кажется, только случай с Василием Киселевым, не допускавший такого истолкования, заставил Дубовку припомнить, что и от Богатенкова иной раз приходилось иным услышать, что он «не знает, кто он». («Я не знаю, кто я», это значит: «я не знаю, кто я, по твоему мнению; я не знаю, считаешь ли ты меня хорошим человеком или дурным; да и сам я не знаю, хороший ли я человек, или нет: решать это не мне самому».)

Как бы то ни было, теперь ли только припомнила Дубовка, что и от Богатенкова иной раз приходилось иным слышать реплики, подобные тем, какие услышал от Василия Киселева его посетитель, или и прежде эти реплики Богатенкова были замечаемы Дубовкою, но для нее стало теперь ясно, что Василий Киселев сделался последователем Богатенкова. И действительно, вскоре после того он с женою и младшим братом перешел жить в землянку, устроенную подле землянки Богатенковых.

Богатенковы прожили в землянке больше двух лет; и со времени переселения Василия Киселева с женою, детьми и братом Давидом в другую землянку, рядом с тою, прошло несколько месяцев — от осени до масленицы. Киселевыми, как простыми подражателями Богатенковых, Дубовка мало занималась. Молва шла почти только о Богатенковых.

Попривыкла бы Дубовка к душеспасительным чудачествам Богатенковых и Киселевых, надоело б ей толковать о них, и улеглась бы молва. Мало ли бывает в огромном селе чудаков, подающих повод к порицанию и смеху? Нашлись бы для Дубовки, — для посада по названию, для глухой деревни по характеру быта, — новые предметы разговоров; бросила б она толковать о Богатенковых и, забытые всеми, жили б они с единственными своими подражателями, Василием и Анною и Давидом Киселевыми, пока наскучило б им чудачествовать. Но, прежде чем молва улеглась, умудрились они, в своих заботах о душевном спасении, устроить дурацкую сцену, погубившую их.

В один из дней масленицы 1866 года Богатенковы и Киселевы вышли из своих землянок, вывели с собою и детей, больших и маленьких; младшее дитя Анны и Василия Киселевых еще не могло идти само: оно было новорожденным младенцем; но и ему нельзя ж было не участвовать в душеспасительном подвиге; потому мать, сама еще едва волочившая ноги после очень недавних родин, несла малютку на руках. Вышли из землянок мудрые родители

с своими детьми и сформировали из себя с ними и с юношей, братом одного из двух мудрых отцов семейств, группу, торжественным величием своим как нельзя лучше соответствовавшую разумности предстоявшего ей душеспасительного дела.

Богатенковы и Киселевы заботились о своем душевном спасении. А люди, заботящиеся о нем, кто они по церковным песнопениям? — они — рать христова, воины христовы. А воины должны ж быть, как следует воинам, вооружены. Если воины не вооружены, то что ж они за воины? Никак нельзя признавать воинов воинами, если они не вооружены.

Соображения чрезвычайно основательные.

И подумать только, что людям, делавшим такие соображения, были предлагаемы вопросы политического характера. Почему ж бы, кстати, не подвергнуть их экзамену из астрономии или санскритского языка? Результаты были бы не менее замечательны.

Но воины христовы, хоть и несомненно должны являться в торжественных случаях вооруженными, что они, однакож, такое? — Они последователи Христа, о котором сказано в писании: «Яко нем, не отверзая уст своих, и яко агнец противу стригущему его безгласен». Само собою разумеется, воины христовы должны не отверзать уст своих, оставаться при совершении своего душеспасительного дела, как немые, безгласными. Они не упустили этого из виду и самым похвальным образом соблюли это при своем подвиге. Но первую надобностью им было вооружиться. Они и вооружились.

Конечно, с такою находчивостью в изготовлении недостававшего для большинства ратников и ратниц их войска оружия, какой не могло бы быть у людей менее премудрых.

Недостаток в оружии у них был очень велик. Их было, считая с новорожденным младенцем, пятнадцать человек. А всего оружия было у них два ружья, — вероятно, охотничьи ружья, — да какая-то сабля или, быть может, две сабли. Итак, для одиннадцати или двенадцати воинов, из пятнадцати, готового оружия не было: необходимо было изготовить его. Они и изготовили; очень легко и превосходно. Взяли дощечки и вырезали из них сабельки. Для взрослых и для тех девочек и мальчиков, на благоразумие которых, по их летам, могли положиться заботливые родители, эти деревянные сабельки чудесно годились. Но были между детьми и вовсе маленькие; они, чего доброго, могли бы, как-нибудь, повытыкать глазенки себе острыми кончиками деревянных сабелек. А новорожденный младенец не мог бы и удержать в ручонке деревянную сабельку, сколько бы ни хлопотала держащая его на руках мать сгибать ему пальчики, чтобы не выпало из них оружие. Потому для этого воителя или этой воительницы христовой рати и для других очень маленьких девочек и мальчиков сабельки были вырезаны из сахарной бумаги; что может быть лучше? — И со-

вершенно легкое оружие, по силам крошечных детей, да и глазочков себе они этими сабельками не выткнут.

Словом: так умно, что, по справедливости надо сказать, таких чудел, как почтенные люди, двинувшиеся с большими и маленькими своими детьми в этом вооружении торжественным шествием по улицам Дубовки, Дубовка, вероятно, не видывала, кроме как в масленичных балаганах, где арлекины пляшут кругом глотающих зажженную паклю паяцев.

Группа воителей и воительниц рати христовой сформировалась на дворе у своих землянок в стройный порядок для торжественного шествия; кто-то из мужчин, — кажется, Давид Киселев, — подал, как следует в ратных походах, военный сигнал началу походного движения, выстрелив — конечно, холостым зарядом — на воздух из ружья, и торжественная процессия двинулась со двора в церемониальное шествие по улицам Дубовки.

Аким Богатенков, — вероятно, и его жена, — Василий Киселев, — быть может, и его жена, хоть едва волочила ноги и, кроме того, держала на руках своего новорожденного младенца, — быть может, и Давид Киселев, вероятно, и старший из детей Акима и Прасковьи Богатенковых — несли узлы и узелочки, сделанные из платков и наполненные деньгами. — С этими узлами и узелками, ружьями и саблею, деревянными и бумажными сабельками шли они, трое мужчин, две женщины — одна из женщин неся младенца на руках — семь девушек и девочек, два маленькие мальчика. Встречавшиеся с дурацкою процессиею останавливались полюбоваться, стояли и хохотали. Путь шествия процессии был длинный: с одного конца Дубовки, где был двор с землянками, откуда двинулась балаганная группа, на другой конец огромного широко раскинувшегося посада. Шествие двигалось медленно, по торжественности своего характера требовавшей, разумеется, церемонной походки, величавой осанки, да и по надобности взрослым и здоровым руководящим персонам шествия соразмерять свое движение с маленькими, шаткими шагами слабых ножек маленьких детей и с тихою, колеблющеюся походкою бедняжки Анны Киселевой, с трудом волочившей ноги. А вдобавок узлы и узелки с деньгами часто развязывались или расщеливались; деньги валились на землю; процессия останавливалась, подбирала деньги, укладывала их в узелки, снова плелась и снова останавливалась подбирать рассыпавшиеся деньги.

Встречаемая и провожаемая по всей длине своего пути неумолкаемым хохотом встречных, процессия прошла таким образом через весь посад совершенно беспрепятственно. Одно это обстоятельство уж достаточно ясно показывает, каков был полицейский порядок в Дубовке того времени, какова была заботливость дубовских полицейских чиновников об исполнении их служебных обязанностей, и вообще какого рода люди были эти чиновники, каково должно было быть у них знакомство ли с законами, умствен-

ное ли развитие, или хоть бы способность к самой простейшей сообразительности. Не говоря уж ни о чем другом, довольно принять в расчет: это было во время масленицы, когда внимательность полицейских чиновников к предохранению улиц от мошенничеств, драк и всяческих скандалов вдвойне нужна. И на всем пути через весь огромный посад нелепая процессия не встретила ни одного полицейского чиновника! — Или видели эти чиновники ее, и глядели, поджимая бока от хохота? Что они делали, где они были, достойные сограждане своих сослуживцев, тогдашних «гласных» дубовского городского (посадского) управления, тех гласных, одним из которых еще незадолго перед тем был шествовавший теперь в процессии Василий Киселев?

Где бы ни были эти мужики, одетые в полицейский мундир, но если не было их на улицах для предохранения улиц от масленичных беспорядков, то не было их и в комнатах присутствия и канцелярии, в доме дубовского полицейского управления. Процессия имела целью своего шествия этот дом.

Озабоченные до ослабления своего здравого смысла размышлениями о своем душевном спасении, темные невежды придумали дурацкий способ исполнения пришедшей в их бедные головы мысли. Но сама по себе эта мысль была настолько благоразумна, при инстинктивно чувствуемой ими неспособности своей сохранить ясность житейской осмотрительности в своем обращении с деньгами, что они заслуживали за свое намерение полного одобрения от всякого здравомыслящего человека. В чем состояло намерение, с которым шли они по улицам Дубовки, было бы с одного взгляда на их процессию видно всякому, хорошо знакомому с «житиями святых»: в четь-минях много таких сцен, как эта процессия. Эти узлы и узелки с деньгами зачем были в руках у этих людей? — Всякому, хорошо начитанному в четь-минях, это должно было быть понятно с первого взгляда на процессию, как мне, усердно читавшему когда-то четь-миней, с первого слова моих друзей об этой процессии вооруженных набожных людей, несущих узлы с деньгами, было ясно все: и то, почему были они вооружены, и с каким намерением пошли они с своего двора.

Аким Богатенков, Василий и Давид Киселевы перестали заниматься промышленными делами, этою суетою земною, отвлекающею мысли от дел спасения душевного. Они и их семейные вели такой образ жизни, что расходы их на свое содержание были очень невелики (сравнительно с их денежными средствами; из того, что буду говорить я об их образе жизни в землянках, будет видно, что Дубовка ошибалась в своей молве об этом образе жизни, как об исполненном тяжких лишений; но действительно расходы их на свое содержание, при тогдашней дешевизне съестных припасов в Дубовке, должны были быть незначительны по сравнению с их денежными средствами). Итак, иметь при себе много денег им не было надобности. А у Богатенковых все состояние было обращено

в деньги, и все эти деньги были при них. И это была сумма денег, еще остававшаяся очень значительною. Долго ли уцелеет у них хоть сколько-нибудь из нее, если она будет оставаться у них под руками? — Надобно припомнить: они щедро помогали бедным. Конечно, порядком-таки поубавилось в эти два с лишком года, прожитые ими в землянках, количество денег, какие были выручены Богатенковым при ликвидации его промышленных дел. А у них было шесть человек детей. И вот они вздумали обеспечить будущность своих детей против своей неудержимой щедрости к бедным. Единственным способом достигнуть этого они — очень рассудительно — нашли отдачу лишних для них в настоящее время денег в какую-нибудь кассу для хранения. Куда ж было отдать им эти деньги? — В прежние времена всеобщим совершенным доверием пользовались так называемые «ломбарды». Теперь ломбардов уж не было. О том, что такое государственный банк, масса еще не имела в 1866 году отчетливых сведений. Частные банки не представлялись простым людям учреждениями вполне благонадежными. Оставалось для Богатенковых одно безусловно верное место сохранения денег — «казна», как выражаются простые люди о денежных сундуках всяких вообще правительственных ведомств. Представительницею «казны» была в Дубовке касса полицейского управления. И Богатенковы решили отнести свои деньги в полицию, чтобы «казна» сберегла эти деньги, которыми обеспечивалась будущность их детей. Бесспорно, мысль, заслуживающая полнейшего одобрения.

У Василия Киселева тоже были какие-то лишние для него в настоящем деньги. Большие или маленькие, не знаю. И полагаю, деньги довольно незначительные сравнительно с деньгами Богатенкова. Но большие ль, или небольшие, у него были какие-то деньги, излишние для него в настоящем; и, вероятно, тоже быстро уходившие из рук его и его жены на пособие бедным. Дубовка мало интересовалась Киселевыми, и моим друзьям не случилось слышать, щедры ли были к бедным Киселевы, когда жили в землянке. Но Киселевы были подражатели Богатенковых во всех подробностях забот о душевном спасении. Я полагаю, подражали им и в щедрости к бедным. А тоже имели детей. И тоже захотели отдать лишние свои деньги в казну — в полицию — для сохранения на пользу своих детей.

Такова была сущность дела. Найди Богатенковы и Киселевы в полиции людей, хорошо способных к исполнению своих должностных обязанностей, никакого процесса не возникло бы. Полицейское начальство растолковало бы невеждам, что для исполнения своей хорошей мысли они выбрали способ, несообразный с постановлениями о порядке и благочинии на улицах; что ходить по Дубовке с оружием не годится; пожурило бы невежд за это, подвергло б их за их дурацкую процессию какому-нибудь взысканию, сообразному с определениями взысканий за нарушение бла-

гочиния на улицах, по точному смыслу соответствующих статей закона. Я не знаю этих постановлений тогдашнего закона с точностью. Но полагаю, что он определял наказывать за подобные нарушения уличного благочиния какими-нибудь денежными штрафами и какими-нибудь кратковременными арестами при полицейском арестантском помещении. Женщины с детьми были бы отведены полицейскими служителями назад в их землянки, я полагаю, а мужчин следовало бы, я полагаю, продержать несколько дней или недель под арестом и после того тоже отвести назад в их землянки.

Так, я полагаю, поступило бы с ними дубовское полицейское начальство, если бы было привычно хорошо исполнять свои служебные обязанности. Но оно, как по всему видно, не имело ни привычки, ни даже способности к тому, чтобы заботливо и сообразительно исполнять их.

Во время масленичного разгула улицы Дубовки оставались безо всякого полицейского надзора. И поэтому дурацкая процессия беспрепятственно прошла через весь огромный посад, из конца в конец, от двора Богатенковых до полицейского дома. В помещении полиции все двери стояли настежь в комнатах канцелярии. Процессия вошла в канцелярию полиции, не останавливаемая никем; добрела до какой-то комнаты, в которой нашла, наконец, полицейских, — но не тех полицейских, которых искала: она пришла отдать деньги на хранение; отдать деньги — кому? какому-нибудь полицейскому чиновнику, конечно. Но ни одного чиновника в помещении полиции не было. Чиновники — где они были? — Это неизвестно; я полагаю: они веселились где-нибудь у каких-нибудь своих сограждан, в компании других сограждан, как следует веселиться на масленице людям, ничем не отличающимся от своих сограждан. Так ли или нет, но в помещении полицейского управления не оказалось никого из полицейских чиновников; сидели тут лишь кое-кто из полицейских служителей.

Вошедши в комнату, где были они, процессия остановилась. Те двое мужчин, у которых были ружья, опустили свои ружья прикладами на пол, — я не знаю терминологии ружейных приемов но, кажется, это называется: поставить ружье к ноге; остальные лица процессии опустили к полу свою саблю, свои деревянные и бумажные сабельки. Вместо того чтобы пригласить эту балаганную рать выйти, сложить свои шутовские военные уборы и тогда вернуться в комнату, полицейские служители, как взглянули на входящую группу, вскочили с криками смертельного ужаса и стремглав убежали. Выбежавши из полицейского дома и заметив, что никто не гонится за ними убивать их, они принялись разыскивать своих начальников и товарищей. Разыскали. Предводимая начальством толпа полицейских служителей ринулась на штурм против завоевавшего полицейский дом неприятельского войска. Вбежали эти храбрецы в комнату, где стало

неприятельское войско. Оно стояло неподвижно, как остановилось тогда, вошедши. Видя неподвижность неприятеля, храбрецы окончательно расхрабрились: мгновенно неприятельское войско было осыпано градом ругательств; чиновники командовали: «бери их! обыскивай! вяжи!» Богатенковы и Киселевы оставались стоять, как стояли, неподвижно, молча. У них отобрали их железное, деревянное и бумажное вооружение, обыскали их; они стояли, не двигаясь, оружие брали у них из рук так, как вынимали б его из каких-нибудь рогулек кустарника: руки, державшие эти ружья, деревянные и бумажные сабельки, как руки статуй, ни отдавали, ни задерживали его. Обезоруживши грозное неприятельское войско, победители обыскивали побежденных; Богатенковы и Киселевы и при этом оставались молчаливы, неподвижны: не делали ничего, чтобы облегчить ли, затруднить ли процедуру обыска. Обыскав их, победители связали их, — я надеюсь: только взрослых; надеюсь, у храбрых победителей достало все-таки смысла на то, чтобы не вязать маленьких девочек и мальчиков, — связали, отвели в арестантскую, заперли и пошли по Дубовке восхвалять свою храбрость.

Все то, что я рассказываю о подвиге храбрости этих мужественных людей, знала вся Дубовка по их же собственным рассказам.

Так ли описали храбрые победители свою победу в протоколе или протоколах, или каких других бумагах, как рассказывали о ней своим согражданам, я не знаю.

Били ль они людей, стоявших молча и не делавших ни малейшего движения, я не знаю; в их рассказах приятелям и приятельницам ничего не было о том, что они били Богатенковых и Киселевых. Я надеюсь, что это умолчание не было скрыванием фактов, надеюсь, что Богатенковы и Киселевы не были подвергаемы при обыске, связывании и препровождении в арестантскую побоям.

При обыске были найдены у Богатенковых и Киселевых деньги. По рассказам распоряжавшихся обыском полицейских чиновников их дубовским согражданам, у Богатенковых было найдено больше двадцати тысяч рублей. Я полагаю, что когда эти чиновники говорили своим приятелям о такой сумме, то, разумеется, из нее не пропало ничего, она была записана в протокол и сохранена вся в целости. Были отобраны, как я уж говорил, какие-то деньги и у Киселевых; но о том, велика или мала была сумма денег, находившаяся при Киселевых, мои друзья, как я уж говорил, ничего определенного не умеют припомнить.

Итак, были арестованы все лица, составлявшие процессию, которая пришла из землянок в комнаты полицейского управления; это были, как я уж перечислял, пятнадцать человек, именно:

Аким и Прасковья Богатенковы с их детьми, которых они имели шесть человек;

Василий и Анна Киселевы с их детьми, которых было четыре человека, и младший брат Василия Давид Киселев.

Были ли подвергаемы взрослые люди между ними какому-нибудь допросу при гвалте, с каким накинута на них храбрецы отбирать у них оружие, обыскивать и вязать их, или весь гвалт храбрецов состоял только из ругательств, не могли по рассказам храбрых победителей разобрать их приятели, да, вероятно, и не интересовались этим вопросом. Но при самом ли арестовании, или через несколько времени, арестованные, — я надеюсь, только взрослые между ними мужчины и женщины и те из их детей, которые не были маленькими девочками и мальчиками, а были уж подростками девушками, — были, без сомнения, подвергнуты какому-нибудь допросу арестовавшими их полицейскими чиновниками. Так я полагаю.

И начался процесс. То, что я имею сказать о нем, я изложу, когда буду говорить о возникшем из него другом процессе, в числе подсудимых по которому находились мои друзья Фома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева. А теперь сделаю лишь одну общую заметку о том, как я смотрю на процесс Богатенковых и Киселевых.

Я рассматриваю вопрос о возбуждении процессов политического характера против людей, по своей необразованности чуждых всяким политическим понятиям, с той точки зрения, с какой смотрят на него все государственные люди, — с точки зрения интересов общественного спокойствия.

Русские простолюдины не имеют ни политических понятий, ни политических желаний. И государственный человек не может одобрять возбуждения таких процессов, которыми совершенно безо всякой надобности волновались бы умы этих простодушных людей через внесение в их мысли пустого фантома*, будто бы между ними есть люди с политическими тенденциями.

Я убежден, что когда написанные дубовскими невеждами бумаги, которыми начался процесс Богатенковых и Киселевых, дошли до сведения должностных лиц губернской администрации той губернии, все эти просвещенные администраторы негодовали на невежд, сделавших напрасные допросы политического характера людям, не имеющим никаких политических понятий, глубоко скорбели о том, что возникли эти бумаги, возникать которым вовсе не следовало. Но — они возникли. Уничтожить их или игнорировать их губернская администрация не имела права. Она обязана была дать им законное движение.

То же самое думаю я и о лицах судебного ведомства, в руки которых были переданы эти бумаги. Я убежден, они находили, что процессу Богатенковых и Киселевых не следовало бы возникать. Но он возник; и они обязаны были вести его.

Мне остается сказать, что я знаю от моих друзей о судьбе Богатенковых и Киселевых.

* Призрака. — Ред.

Процесс длился года три. Кончился, должно быть, в 1869 году.

Из пятнадцати человек, содержавшихся под стражею, умерла во время процесса старшая дочь Богатенковых, Авдотья, как я уж говорил.

Богатенковы содержались под стражею несколько времени в Дубовке; после были отвезены в Саратов.

Киселевы были отвезены в Камышин. Когда дело было решено, то для выслушания приговора привезли и их в Саратов.

Суд над Богатенковыми и Киселевыми производился еще по старой форме, не по новому уставу. Новые судебные учреждения, должно быть, еще не были введены в Саратовской губернии в 1866 году, когда начался процесс? — Я не знаю этого, но, должно быть, так.

Все подсудимые, которыми, как я уж говорил, считались, вероятно, только пять самостоятельных людей из числа четырнадцати, оставшихся в живых при конце процесса, то есть: Аким и Прасковья Богатенковы, Василий и Анна Киселевы и Давид Киселев, были приговорены судом — то есть, должно быть, Саратовскою уголовною палатою — к поселению в Закавказском крае.

Когда Аким и Прасковья Богатенковы, окруженные своими остававшимися тогда в живых из шести пятью детьми, выходили из Саратовского тюремного замка, чтобы быть отправленными на место поселения, — куда, я предполагаю, дети их отправлялись с ними не как приговоренные к наказанию, а только по желанию родителей, — подошли к выходившей из тюремного замка группе какие-то должностные люди, — вероятно, я полагаю, какой-нибудь полицейский чиновник с полицейскими служителями, — взяли из пятерых детей двух, именно: четвертое по старшинству лет дитя (или теперь, по смерти старшей сестры, третье из остававшихся в живых), девочку Ульяну, и пятое (или теперь, из пяти живых, четвертое) дитя, мальчика Поликарпа, — взяли их и увели прочь. Отец и мать остановились в изумлении, но не шевельнули рукою для сопротивления, не произнесли ни одного слова, молча стояли и смотрели, как были уводимы дети; когда оба ребенка были уведены, отец и мать с остававшимися при них тремя детьми молча пошли в свой путь.

Кем было сделано распоряжение задержать Ульяну и Поликарпа и по какому мотиву было оно сделано, моим друзьям не случилось слышать, и я не умею придумать никакого объяснения этому распоряжению. Сама собою являлась бы та мысль, что кто-нибудь из светского ли, или из духовного начальства думал о том, чтоб изъять из-под влияния родителей тех детей, о которых, по их летам, можно было предполагать, что они еще не восприняли родительских понятий; и что это лицо рассудило: о двух старших детях этого предполагать уж нельзя — они не так малы летами; а Ульяна и Поликарп еще могут считаться не проникнувшими образом мыслей родителей. И действительно, об этих

девочке и мальчике можно было сделать такое предположение: Ульяне было тогда лет двенадцать или тринадцать, Поликарпу — одиннадцать или двенадцать. Но если бы распоряжение относительно их было сделано по такому соображению, то еще с большею верностью это соображение применялось бы к шестому (или, из оставшихся теперь в живых, пятому) дитяти, к девочке Катерине. А она была оставлена при родителях. Вот собственно поэтому и не умею я объяснить себе мотива распоряжения относительно Ульяны и Поликарпа.

Остальные двенадцать человек, то есть:

Аким и Пасковья Богатенковы с тремя детьми,

Василий и Анна Киселевы с четырьмя детьми и Давид Киселев, были препровождены в Закавказский край и поселены где-то в Елисаветпольском уезде.

Пасковья Богатенкова, по слухам, дошедшим до моих друзей, довольно скоро после того умерла на новом месте своего жительства.

Оставшиеся в живых одиннадцать человек жили в Елисаветпольском уезде, пока доходили слухи о них до моих друзей, не особенно бедственно, быть может, даже с некоторым, хоть небольшим, достатком.

Слухи о них доходили до моих друзей по письмам, которые посылали они из Закавказья к своим родным в Дубовку. Процесс моих друзей шел напоследок в Царицыне; а Дубовка очень недалеко от Царицына, и кое-кто из родных приезжал иногда навестить моих друзей в Царицыне.

Они слышали также, что дети Богатенковых, удержанные в Саратове, Ульяна и Поликарп, были через несколько времени, по просьбе Дубовского общества, пересланы из Саратова в Дубовку, где общество приняло их на свое попечение. Мои друзья слышали также, что когда эти девочка и мальчик подрастут, то им будут выданы деньги, которые были отобраны у их родителей. Слышали, что в 1872 или 1874 году часть этих денег — я предполагаю: проценты с них — была выдана Поликарпу или, быть может, Ульяне и Поликарпу вместе.

Процесс, в числе подсудимых и осужденных по которому находились мои друзья, Фома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева, был, как я уж сказал, последствием процесса Богатенковых и Киселевых.

Перехожу к рассказу об отношениях, из которых произошел тот факт, что процессом Богатенковых и Киселевых был порожден процесс, кончившийся ссылкой на поселение в Сибирь шести человек, к числу которых принадлежат мои друзья.

У Пасковьи, ставшей по замужеству Богатенковою, была сверстница, подруга детства, Дарья, ставшая по замужеству Ворониною. Дарья и Пасковья росли и выросли вместе: постоянно

вместе играли, когда были маленькими девочками, и, подрастая, оставались постоянно неразлучны. Когда Прасковья, достигнув лет двенадцати — четырнадцати, увлекалась мечтами о душевном спасении, о поступлении в монахини, эти ее мысли и чувства были у нее общие с ее любимой подругой: Дарья была проникнута теми же мечтами. Обе неразлучные подруги хотели и в монастырь идти непременно вместе.

Сформировавшись физически, сверстницы забыли думать о монашестве, стали веселиться, как все другие девушки, но и в хороводах, и всяких девических забавах оставались неразлучны.

Вышли замуж, остались дружны попрежнему.

Муж Дарьи, Воронин, был судопромышленник; дела его шли хорошо, но нажить богатство ему не привелось: до самого конца его торговой деятельности его состояние не превосходило нескольких тысяч рублей; много, если тысяч десять было у него. — А муж Прасковьи разбогател. Две семьи, по разности своих состояний, стали принадлежать к разным кругам дубовского общества. Но и это не уменьшило дружбу между богатою купчихою и женою маленького торгового человека. Прасковья Богатенкова продолжала любить Дарью Воронину, как привыкла с детства.

У Ворониных подрастал сын (единственное их дитя). Он был почти сверстник старшей дочери Богатенковых, Авдотье. Прасковья Богатенкова стала говорить своей подруге, что непременно хочет отдать эту свою дочь за ее сына. При разнице состояний двух семейств такая женитьба не могла не казаться Ворониной очень выгодным устройством судьбы ее сына: женившись на дочери Богатенковых, он вошел бы в класс торговых людей, гораздо более высокий, чем его отцовский круг. — Аким Богатенков продал свое кожевенное заведение, перестал заниматься торговыми делами; Богатенковы перестали видаться с прежними своими богатыми друзьями. Все это очень не нравилось Ворониной и значительно уменьшало выгодность женитьбы на Авдотье Богатенковой для сына Ворониной. Но все-таки эта женитьба оставалась очень выгодною для него. Прерванные богатые знакомства не было бы трудно возобновить, лишь бы захотели того Богатенковы. А они были заботливые, превосходные отец и мать: их забота о их собственном душевном спасении нисколько не изменила их нежной заботливости о детях. Стали не нужны им самим дружеские связи с богачами; но понадобится восстановить эти связи для пользы зятя, то они не обременятся восстановить их. Так думала Воронина. И, я полагаю, не могла, при своем совершенно близком знании характеров Акима и Прасковьи Богатенковых, ошибаться в этом расчете. Да и приданое, которое должна была получить невеста, хоть и не могло теперь быть так велико, как было б, если бы отец ее не прекратил своих промышленных дел, все-таки должно было простирается до такой суммы, что с женитьбою сына торговые обороты Воронина тотчас же удвоились бы. Когда Бога-

тенковы пришли отдать свои деньги в казну на сохранение для их детей, они принесли больше двадцати тысяч; это — после всех постоянно длившихся растрат. За год, за полтора перед тем количество наличных денег у них должно было составлять сумму более значительную. У них было шесть человек детей. Шестая доля тысяч из тридцати, или из тридцати пяти, или и больше того, — таково было вероятное приданое Авдотьи: тысяч пять, тысяч шесть наличными деньгами. Для торговца, у которого все состояние простирается лишь до нескольких тысяч, прибавка пяти, шести тысяч наличными деньгами к его торговым средствам равносильна перемещению его из небогатых торговцев в класс купцов, имеющих довольно значительные обороты. — Не для себя самой с мужем Воронина желала обогащения — для сына; сын был одно дитя у них, как было ей не дорожить перспективою его женитьбы на Авдотье Богатенковой?

Она порицала Богатенковых за перемену в их образе жизни. Но Прасковья Богатенкова оставалась попрежнему любящею ее с нежностью. Как же могла бы она перестать любить свою подругу?

Она была женщина совестливая. Предполагаемый брак был очень выгоден для ее сына, но ее подруга могла бы выбрать для своей старшей дочери жениха несравненно более выгодного, чем ее сын. Она была так совестлива, что часто заводила с подругою своею разговоры в таком смысле, как будто не нравится ей желание ее подруги. Но Богатенкова настаивала. И принуждаемая отступаться от своих возражений против свадьбы, Воронина переходила к согласию на план Богатенковой всегда лишь в очень сдержанных выражениях, чтобы сохранять за Богатенковою легкую возможность, если передумает, перестать говорить об этой свадьбе.

Но Богатенкова была тверда в своем намерении, и, наконец, Воронина перестала возражать против того, чего сама так сильно желала. Богатенкова вытребовала у нее обещание, что свадьба будет сделана, как только станет это возможным по закону о летах, раньше которых не может быть венчаем жених. Невесте шестнадцать лет уж исполнилось. Но жениху был еще только восемнадцатый год; до восемнадцати лет оставалось несколько месяцев.

И оба семейства ждали только, пока исполнится жениху восемнадцать лет. Тогда тотчас же будет свадьба.

Но жених умер. Это было за несколько месяцев до той масленицы, в которую Богатенковы устроили свою нелепую процессию, то есть это было осенью или зимою 1865 года.

Воронина и ее муж были, само собою разумеется, страшно поражены смертью сына, единственного их дитяти.

Пришла масленица 1866 года. Богатенковы устроили свою дурацкую процессию и были арестованы. Несколько месяцев — месяца три или и побольше — они были оставляемы содержимыми под стражею в самой Дубовке.

Могла ли Воронина, узнавши об их аресте, не отправиться навестить их? — Она порицала их. Но могла ли она не навестить в беде женщину, которая так любила ее?

И отправилась Воронина навестить арестованных Богатенковых. Это посещение произвело на нее такое впечатление, что перевернулись ее мысли.

Известно, какими находят арестованных посещающие их родные или друзья: унылыми, тревожными, убитыми духом. То и ожидала увидеть Воронина. И увидела совершенно противоположное: лица у Богатенкова и его жены были спокойные, светлые; не только Богатенкова, от природы расположенная говорить весело, живо, но и Богатенков, вообще склонный к задумчивости, очень часто казавшийся Ворониной будто грустным, поздоровались с нею веселыми приветствиями. Она остолбенела от удивления. Опомившись, она стала печально расспрашивать их, как же это, за что же это попали они в такую беду. Богатенков показал рукою на стену арестантской комнаты — разумеется, во многих местах загрязненную, почерневшую — и сказал, дотрогиваясь до чистого места и до почерневшего: «Вот это белое, а вот это черное. Ну, мы и выбрали, что нам показалось белое». Только и сказал он в объяснение дела. Он и его жена не говорили больше ничего об этом, стали вести с своею посетительницею обыкновенной житейский, беззаботный разговор; она должна была рассказывать им, что нового в Дубовке и всякие тому подобные мелочи, о каких толкуют между собою люди, видящиеся часто и не имеющие никаких важных личных дел или забот для предмета своего настоящего свидания и разговора.

Спокойные, светлые, веселые встретили Богатенков и его жена Воронину; такими оставались во время ее посещения, такими остались и прощаясь с нею.

Да что ж это такое? думалось ей: какие ж это люди чувствуют себя счастливыми под стражею?

Ответ очень скоро нашелся в ее мыслях. Он готов у всех русских простолюдинов. Стало припоминаться ей, что слыхивала она о святых мучениках и мученицах, страдавших за Христа. Они бывали такие спокойные и радостные в темницах. Только они бывают такие: Христос дает их душе такую силу, внушая им, что ждет их вечное блаженство.

Всякий русский простолюдин, всякая русская простолюдинка, кому по их личным привязанностям пришлось бы серьезно задуматься о вопросе, над которым пришлось задуматься Ворониной, быстро додумались бы до такого ж ответа. У них у всех в головах лежит он готовый; лежит с их детства готовый. Только не случается вообще им надобности искать его в глубинах своей дремлющей рефлексии, куда он вообще оттеснен у них обыденными житейскими делами, заботами, развлечениями. А когда иных иной раз и натолкнет какой-нибудь случай припомнить эту гото-

вую, по остающуюся в забвении мысль, она промелькнет в их сознании на миг и снова тонет в глубину забвения, вытесняемая из сознания обычным стремлением их поверхностного, слабого размышления сосредоточиваться исключительно на житейских вещах, судить обо всем по всеобщей житейской рутине, осуждающей, осмеивающей все непрактичное.

Так осуждала и осмеивала жизнь Богатенковых в землянке вся Дубовка. Так порицала их за эту жизнь и Воронина. Но теперь, взглянувши попристальнее, она не могла не увидеть: то, что осуждала она, — дело святое.

Имей она кого-нибудь, сколько-нибудь образованного человека, хоть бы не более образованного, чем какими бывают обыкновенные священники или какими были прежде «беглые попы», служившие старообрядцам, — имей она кого-нибудь такого, с кем посоветоваться, не сделалась бы она жертвою своего удивления святости Богатенковых. Но посоветоваться ей было не с кем. Она и ее муж были старообрядцы. Не знаю, старообрядцами ль, или православными были отмечаемы они в церковных книгах. Я уж говорил, что я убежден: судебная власть не придавала тогда значения той фикции, по которой множество старообрядцев, родившихся, выросших в старообрядчестве и неотступно остававшихся в нем, были отмечаемы в церковных книгах, как православные; я убежден, что ни Ворониной, ни кому из других, осужденных вместе с нею, нимало не повредила эта фикция, если кто из них, никогда не бывших православными, значились, по церковным книгам, как православные. Суд, я убежден, был справедлив. И не какие-нибудь фикции повредили им. Их погубили факты; тот факт, что они были старообрядцы; и тот факт, что старообрядцы той местности не имели тогда никого, сколько-нибудь образованного человека, с кем бы им посоветоваться о своих религиозных влечениях.

Возвратившись от Богатенковых, Воронина рассказала о впечатлении, сделанном на нее этим посещением, Катерине Чистоплюевой.

Мужья Ворониной и Чистоплюевой были двоюродные братья (Воронин был племянник матери Фомы Чистоплюева). Оба семейства были очень дружны между собою и виделись каждый день.

Подобно Ворониной, Катерина была дочь простолюдинов, живших без нужды, но не имевших денежных запасов. У нее были женихи из зажиточных, даже богатых семейств. Но она вышла за человека из такого же семейства, как ее родительское. Это потому, что он и его мать, вдова, которая жила только вдвоем с ним, очень нравились матери Катерины. Мать Катерины рассчитывала, что жизнь ее дочери с этим женихом и его матерью будет совершенно спокойною и очень счастливою.

Семейства жениха и невесты были оба старообрядческие. Но единственною формою брака людей русской национальности,

имевшему тогда законное значение, было венчание в православной церкви. Не венчанные православным священником люди русской национальности не были юридически признаваемы за сожителей в законном браке. Из этого возникали для них юридические неудобства, иногда и беды. Мать жениха, хоть и усердная староверка, не имела враждебности против православия. Она не хотела, чтобы ее сын и будущая его жена могли подвергнуться юридическим неудобствам, и пожелала, чтоб они повенчались у православного священника. Семейство невесты не имело возражения против этого. Жених и невеста пошли в православную церковь и повенчались в ней.

Я полагаю, что по этому поводу они были отмечены в церковных книгах того прихода, как православные. Но они говорят, что в их процессе не было упоминания о том, что они были когда-нибудь записаны в числе людей православного исповедания. Быть может, они ошибаются: им плохо понятен деловой язык. Но, быть может, и действительно в акты процесса не попал факт, что они были записаны в «обыскной книге» и во второй части «метрической книги» той церкви, где венчались как православные. Справки о вероисповедании брались в те времена из «исповедных книг», а эти книги во многих приходских церквях ведены были неаккуратно. Быть может, и не была перенесена в них отметка, соответственная документу «обыскной книги», что Фома и Катерина Чистоплюевы повенчаны в православной церкви. — Впрочем, я полагаю, что эти справки из церковных книг были индифферентны для суда. Я повторяю: я убежден, что суд был справедлив и не обращал внимания на то, к какому вероисповеданию причисляемы были по церковным книгам люди, о которых было всем известно, что они чикогда не были православными, следовательно, и не могли быть серьезным образом винимы в отпадении от православия.

Надежда, по которой Катерина, руководимая советами своей матери, предпочла Фому Чистоплюева другим своим женихам, вполне осуществилась. В семействе, состоявшем только из трех лиц, — Фомы и Катерины и матери Фомы, владычествовало ненарушимо ни малейшими неудовольствиями самое счастливое согласие, самое нежное семейное чувство. Мать Фомы любила Катерину как родную дочь. Фома и Катерина страстно любили друг друга. Катерина была всею душою предана матери мужа.

И материальное положение семейства было, по размеру надобностей простонародного образа жизни, превосходное.

У Чистоплюевых был хорошенький маленький домик в той части Дубовки, где жили исключительно люди небогатые. Катерина была заботливая и искусная хозяйка. Доходы семейства были, для людей простонародного образа жизни, очень большие. Фома был рыбак. Он арендовал одно из рыболовных мест, принадлежащих посаду Дубовке. В период главного улова, продолжаю-

щийся недель шесть, много — два месяца, выручалось у Фомы за пойманную рыбу, по вычете всех издержек, рублей сот пять в плохой год; в хороший — больше. Когда время главного улова рыбы кончалось, Фома принимался за лоцманство. И в этом он был мастер. За рейс от Дубовки до Астрахани платили ему рублей до шестидесяти. Он успевал сделать два рейса в навигацию. Купцы знали его за человека безусловной честности, потому подвертывалось ему кстати получать и какие-нибудь торговые поручения в Астрахань.

Таким образом, семейство рабочих людей, состоявшее только из трех лиц и жившее в собственном домике, имело в год не меньше — обыкновенно довольно много больше — шестисот рублей чистого дохода. Разумеется, оно жило в прекрасном изобилии. — «Богаты мы не были, но жили так, как дай бог жить всем добрым людям», — говорят Чистоплюевы.

Катерина была в девушках первым лицом в хороводах той части Дубовки. Вышедши замуж, осталась душою развлечений, какие в Дубовке считались хорошими для девушек и молодых женщин. Когда прошла пора первой молодости, она стала душою солидных развлечений немолодых женщин. Где была она, там было веселье. — «Усердная была я работница, но и веселиться любила; и много веселилась», — говорит она о себе. — Между прочим, славилась она в той части Дубовки как самая лучшая певица.

Все трое — она, ее муж, его мать — были люди добрые к нуждающимся и употребляли довольно значительную долю своих денег на пособие бедным. Все остальное проживали, потому что и муж, и мать его рады были делать все, как хотелось Катерине, а у Катерины был такой характер, что не приходилось ей и им скупиться на хлебосольство. В знакомствах своих они не разбирали, кто старообрядцы, кто православные: лишь был бы честный человек, то и нравился им. — «Не копили мы денег, зато жили мы в свое удовольствие», — говорят Чистоплюевы.

Муж и жена страстно любили друг друга. И оба были хорошего роста, крепкого сложения, он даже атлетического. А между тем детей у них не было. На мой вопрос: почему не было у них детей? — сделанный Чистоплюеву, когда однажды случилось мне застать его одного, без женщин, он отвечал: «Воля божия была такая». Он, его жена, его мать, все их родные довольствовались таким пониманием дела. Всякому, хоть немножко знакомому с физиологиею и патологиею, известно, в чем состоит обыкновеннейшая причина бесплодия брака, если супружеская чета — люди, живущие согласно, правильно сложенные, потому люди такие, у которых следовало бы быть детям. Я стал расспрашивать Чистоплюева, не было ли у его жены какого-нибудь расстройства. Он отвечал: нет. Я объяснил ему, что если такая чета, как он и его жена, не имеют детей, обыкновенная причина тому какая-нибудь

внутренняя болезнь жены, из разряда тех женских болезней, признаками которых бывают страдания вроде аменорреи, дисменорреи или чего-нибудь подобного. Конечно, я объяснил ему это словами простыми, так что он понимал их. Но он сказал мне, у его жены ничего такого не было. Когда я застал в другой раз его одного, он сказал мне, что он спрашивал о том у жены, она подтвердила ему: да, он отвечал мне правильно, ничего такого никогда не было у нее. — Через несколько времени, рассказывая что-то о том, как вела свое хозяйство, она случайно упомянула, что какое-то спешное хозяйственное дело приостановилось у нее на два или на три дня, потому что она провела эти дни в постели. Я спросил: часто ли случалось ей проводить в постели по два, по три дня. — Она отвечала: часто. — Я спросил: «Что ж такое это бывало с вами, Катерина Николаевна?» Она отвечала: «Ты старик, я старуха, то могу сказать тебе прямо. Чать я женщина». — «Неужели ж каждый месяц вы страдали?» — «Каждый месяц». — «А я спрашивал об этом у Фомы Павловича; он сказал: у вас не было никакого расстройства, и вы подтвердили ему, что он отвечал мне правильно». — «Известно, у меня и не было никакого расстройства. Иной месяц и в постели не лежала». — «Но страдание было каждой месяц?» — «Ну, да; так что? Стоило об этом думать! Чать я женщина; это у многих так». — «Все те женщины, у которых это соединено с довольно заметным страданием, больны». Она, и ее муж, и его тетка, все трое удивились. «От этого-то и детей-то у вас не было, Катерина Николаевна». Все трое изумились и долго не могли убедиться, что я говорю справедливо: такие пустяки — болезнь! и эта болезнь причина тому, что не было детей! — Это были совершенные новости для них.

Всякому, сколько-нибудь знакомому с патологиею, известно, какие влияния на нервную деятельность оказывают те расстройства организма, симптомами которых служат аменоррея, дисменоррея и тому подобные неправильности периодических функций его. Катерина Чистоплюева часто чувствовала в себе странное для нее настроение печалиться из-за мелочей, радоваться мелочам: «Сама, бывало, понимаешь: не стоит огорчаться, а слезы так и льются, и осуждаешь себя и дивишься себе, а удержаться не можешь: плачешь и плачешь, хоть вовсе не над чем плакать. А то, безо всякой причины смеешься, точно ребенок». Когда я сказал, что это было от ее болезни, она, разумеется, изумилась.

Дело дошло до того, что у нее явились галлюцинации. Она была женщина чистой нравственности, счастливая любовью к мужу, потому что ее галлюцинации не могли быть фривольными, должны были иметь благородное содержание. Она была женщина с сильным религиозным чувством и, как безграмотная простолюдинка, знала лишь одну сферу идеальных стремлений, религиозную. Потому и галлюцинации ее имели религиозный характер. — У католиков религиозные галлюцинации часто имеют

своим содержанием участие в блаженстве райской жизни. Русским простолюдинам редко случается грезить в этом направлении. Им более привычны мысли о кознях дьявольских, о нечистой силе, о враге рода человеческого, который, по известному им всем тексту, «ходит, как лев, ищущий поглотить». В этом и состояли галлюцинации Катерины Чистоплюевой. Особенно часто рисовались ей две грезы. Одна из этих обыкновенных ее галлюцинаций была та, что перед нею стоит лев с разинутою пастью и хочет проглотить ее. Другая была та, что все стены комнаты, в которой она, покрыты множеством громадных нечистых насекомых, в особенности пауков гигантской величины: каждый паук величиною с кулак или больше. «Сама я понимаю, бывало, что, может быть, это не в самом деле живые пауки или настоящий лев, а только мерещится мне это; но только видишь это перед своими глазами так неотступно, что не можешь отвязаться от мысли: нет, не то что представляется это мне наяву, все равно, будто сон, а в самом деле это я вижу дьявола в образе льва, поганных бесов вижу в образе пауков и всякой гадины. Стараюсь разогнать свой страх и думаю, что если бы удалось мне одолеть его, то и пропало бы все это из моих глаз; но нет, не могу совладеть с собою, одолеть свой страх, и вижу все это совсем так, как вижу всякую настоящую вещь», — говорит она, рассказывая о времени своих галлюцинаций. Наконец однажды она превозмогла оцепенение своего ужаса, сказала себе: «попробую, что это такое: в самом ли деле это живое, или это только так представляется мне». Галлюцинация, представлявшаяся ей тогда, была та, что на стенах сидят и ползают огромные пауки. Она подошла к стене и решила: «ударю я кулаком этого паука, которого ловко мне ударить, я его расшибу кулаком; и посмотрю, будет ли мокреть на кулаке: будет кулак мокрый, то, значит, паук был в самом деле живой, а останется кулак сухим, значит, было пустое место, где представлялся мне паук». Она ударила кулаком по пауку, — паук исчез, а кулак остался сухим. Она взглянула по всей стене, по другим стенам — нигде больше не было пауков: все они исчезли. — «Я и уверилась, что ничего не было в самом деле, а только представлялось мне так. И после уж не мерещилось мне, избавилась я от этого», — рассказывала она мне.

Само собою разумеется, она полагает, что эти видения были наваждением дьявольским. Искушать ее дьявол не имел силы, потому что ничего грешного в ее сердце не было, то вот, за невозможностью искушать, враг всех честных людей вымещал на ней свою досаду за ее не нравящуюся ему честную жизнь по крайней мере тем, что пугал ее.

Все трое — она, ее муж, его мать — были люди очень религиозные. Но положение дел в старообрядчестве того края было таково, что старообрядцам, живо интересовавшимся мыслями о своем душевном спасении, приходилось много задумываться о спо-

собах достичь спокойствия душевного. Главные центры религиозного назидания старообрядцев юго-восточного края Европейской России, иргизские монастыри, были переданы в заведывание православной иерархии⁷. Беглые священники, странствовавшие прежде по Саратовской и соседним губерниям и совершавшие богослужение для старообрядцев в местах их жительства, исполнявшие для них церковные «требы», при случаях безопасной жизни хоть по несколько дней в одной местности, и разъяснявшие хоть сколько-нибудь их религиозные вопросы, почти совершенно исчезли около времени закрытия иргизских монастырей для старообрядчества. Не только церковей для совершения литургии, не только священников для ее исполнения не стало у старообрядцев, не только некому стало совершать для них такие требы, которые по их учению (одинаковому в этом, да и во всем, кроме маловажных разниц, с православным) могут быть совершаемы только священниками (каковы венчание браков, исповедь, причащение), но не стало у них и простых «часовенок», в которых бы собираться хоть одним мирянам без священника и исполнять хоть те церковные службы, которые по их (и по православному) учению могут, при неимении священника, читать и петь вслух для собравшихся верующих простые миряне (таковы, в сущности, все церковные службы, кроме важнейшей из них всех — литургии). Не только часовенок для таких собраний на молитву более или менее многочисленным обществом не стало, но было небезопасно сходитьсь на молитву хотя бы двум, трем соседним семействам в какую-нибудь совершенно обыкновенную комнату в доме одного из них.

Понятно, что при таком состоянии вещей, масса дубовских старообрядцев, почти вся сплошь безграмотная, скоро стала очень оскудевать знаниями о своей вере, запас которых и прежде был у нее невелик, и с тем вместе стала раздробляться в своих способах молиться богу. Некоторые из старообрядцев считали необходимостью добыть себе откуда бы то ни было хоть каких-нибудь священников и для этого решились войти в сношения с старообрядческою иерархией, существовавшею тогда в Австрии, в Белой Кринице⁸. Но огромное большинство рассудило, что эти сношения с духовенством чужого государства дело слишком опасное, да и не еретики ли белокриницкие люди, называющие себя держащимися старой веры? — было сомнительно, чиста ли их вера. Потому громадное число старообрядцев Дубовки и соседних с нею мест не захотело иметь никаких отношений к белокриницкой иерархии и прозвало «перешедшими в астрийскую веру» тех немногих, которые или успели, или не успевали — только хлопотали — войти в сношения с нею. Это громадное большинство, не хотевшее и слышать о белокриницкой иерархии, осталось не только без священников, но и без надежды иметь их.

Натурально, что безнадежность иметь священников должна была вести это большинство старообрядцев к мысли, что в свя-

щенниках нег непременнои надобности для их душевного спасения. Не могли ж они, считавшие себя детьми истинной церкви христовой, отчаяться в своем спасении из-за того обстоятельства, что лишены они священников. Сколько я могу разобрать, эти люди не отклонялись от старообрядчества в собственном смысле слова, не пошли в своих мыслях ни по какому из тех путей, которыми прежде выделялись из «старообрядчества, приемлющего священство» разные сектантские вероучения, «не приемлющие священства», вроде, например, «поморцев». Нет, они остались, — сколько я могу разобрать смутные данные о них, какие попадались мне в книгах и статьях об этом предмете, вообще сбивчивых и нелепых, и сколько я могу понять путаницу мыслей моих друзей, — они, огромное большинство старообрядцев, к которому принадлежали прежде мои друзья, остались «старообрядцами, приемлющими священство», остались людьми своей наследственной, привычной веры, во всем, кроме немногих и совершенно маловажных различий, одинаковой с православным вероучением. Они только принуждены были не зависевшею от их воли невозможностью иметь священников утешать себя упованием, что бог, по милосердию своему, не лишит царствия небесного тех между ними, которые будут заслуживать душевного спасения жизнью своею, — не лишит царствия небесного достойных его, хоть и живут они, не имея священников.

Такою оставалась, сколько я могу разобрать, вся масса старообрядцев Дубовки и соседних местностей, за исключением немногих отдельных лиц, вступивших или желавших вступить в сношения с белокриницкою иерархией и прозванных на языке этой массы перешедшими в «австрийскую веру». Она оставалась держащейся «старообрядчества, приемлющего священство», только утешающею себя упованием, что возможно спасение для истинно верующих и при неимении священников. К этой массе принадлежали и мои друзья.

Но как следует молиться? По вопросу о том эта масса дробилась, приходя к разным ответам, по различию человеческих понятий о правилах житейского благоразумия. Некоторые полагали, что они не нарушат правил благоразумия, если будут собираться по несколько семейств для молитвы в обыкновенной комнате. Правда, это не вполне безопасно. Но риск быть уличенными в том невелик. А если как-нибудь и попадешься, то не тяжким же бедам подвергнешься: потерпишь неприятности, но мимолетные и мелкие. И в дом кого-нибудь из думавших так собирались по несколько семейств думавших подобно ему соседей помолиться вместе. Тут или обыкновенно, или по крайней мере часто находился какой-нибудь грамотный человек и читал, пел, по «псалтырю» или «часослову», по какой другой, какая была под руками, богослужебной книге.

Но были люди, рассуждавшие иначе. Что запрещено, то запрещено. Делать запрещенное не годится. Запрещено собираться для молитв, то и не следует собираться. К таким людям принадлежала мать Фомы Чистоплюева. Она не ходила ни в какие молитвенные собрания своих одноверцев. Молилась у себя дома, когда никаких посетителей или посетительниц у нее не было. Фома Чистоплюев уважал мать, слушался ее и, воспитанный в ее правилах, тоже находил неблагоразумным бывать в молитвенных собраниях; не посещал их никогда. Катерина, когда вышла за него замуж, имела только шестнадцать лет. Натурально, она стала следовать мнению и примеру любимых ею мужа и его матери.

У русских простолюдинов молиться дома более или менее продолжительное время находят досуг вообще только старики и старухи, сложившие заботу о добывании куска хлеба и о домашнем хозяйстве на детей. Тем, кто в силах работать, недосуг долго молиться. Разумеется, в тех старообрядческих семействах рабочего класса, которые по нежеланию делать запрещенное не ходили в собрание своих единоверцев для общественных молитв, молодые люди молились у себя дома лишь по несколько минут в день. Так было это и в семействе Чистоплюевых. Мать, пожилая женщина, вскоре ставшая и вовсе старухой, была избавлена женою сына от обременения хозяйственными бесконечными хлопотами, имела досуг для продолжительного моления. Сын и его жена с молодости привыкли к тому, чтоб употреблять на молитву мало времени.

Все трое они не умели читать. У той части их безграмотных одноверцев, которая посещала общественные молитвы, могло хоть немножко поддерживаться, какое было прежде, маленькое, скудное знание своего вероучения: в богослужебных книгах попадаются места, относящиеся к догматике: а в общественных молитвах читалось же что-нибудь хоть из «служебника», или «часослова», или «псалтыря». Но те из безграмотных семейств, которые молились только одиноко, дома у себя, разумеется, забывали мало-помалу подлинные слова длинных молитв; а переиначивать выражения церковных молитв дело непозволительное, по убеждению русских простых людей. Чтобы не грешить, переиначивая или перепутывая длинные молитвы, они переставали произносить их, по мере того как перестали быть уверенными, что с совершенною точностью помнится им та или другая из длинных молитв. У многих дело доходило до того, что насколько хватало у них усердия молиться, хоть бы на несколько часов кряду, они молились, повторяя все это время только одну, самую коротенькую, молитву, так называемую «молитву исусову» (по орфографии книг православной церкви, «Иисусу»), то есть: «господи Исусе (Иисусе) Христе, сыне божий, помилуй нас». И у матери Фомы Чистоплюева эта молитва составляла одна почти все содержание ее — хоть и продолжительных — молений к богу. Возьмет старушка лестовку (простонародные чет-

ки) и перебирает узелки лестовки (соответствующие зернам четок), на каждом узелке повторяя: «господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас». — Понятно, много ли могло удержаться в ее памяти из прежнего — конечно, никогда не бывшего значительным — запаса сведений о вероучении, которое находила она истинным, когда лет пятнадцать, двадцать вся поддержка сохранению ее прежних сведений в ее памяти ограничивалась повторением этих семи слов: «господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас».

Она употребляла много времени на то, чтобы молиться, как доставало у нее умения молиться при ее безграмотной беспомощности. Ее сын и его жена, подобно всем другим занятым работою простым русским людям, считали достаточным употреблять на свои домашние моления по несколько минут.

Но и они были люди с очень живым религиозным чувством. О Катерине, — о человеке, имевшем даже видения, — нечего и распространяться, сильно ли, горячо ли было ее религиозное чувство. Ее муж до религиозных галлюцинаций не доходил. Стало быть, о его религиозности не излишними будут подробности, совершенно излишние относительно его жены, о религиозности которой есть такой факт, как ее видения.

С детства Фома Чистоплюев «не осквернял своих уст» никакими грубыми, площадными словами, какие оставили в наследство русскому народу сквернословцы татаре, господством своим так много испортившие нас. С детства он приучил себя «не божиться», по заповеди: «не приемли имени господа бога твоего всуе», — эта заповедь значит: не божись, объяснял он мне. До женитьбы он, имевший атлетическое сложение, держал себя, как скромная девушка. А он женился на двадцать втором году. «Видишь ли, мой друг, есть заповедь: не любодействуй, — объяснял он мне, — стало быть, и не годится этого делать. Ну, я и не делал». — Довольно этого, чтобы судить о его религиозности.

Он был не прочь принимать участие в развлечениях своего круга знакомых. Но больше склонности имел он участвовать в солидных беседах людей, которые в том кругу считались умными, ведущими поучительные разговоры. Почти все сплошь эти почтенные мудрецы из рабочего класса были безграмотны. Предметом их поучительных рассуждений была по преимуществу нравственная жизнь; и, само собою разумеется, они судили обо всем с религиозной точки зрения. И, конечно, главными авторитетами между ними были старики, одряхлевшие от долголетней трудной работы, сдавшие хозяйство на руки детям, или, если бездетные, то питавшиеся кое-как или крохами, какие собрали себе трудами своими, или жившие, как живут птицы небесные: ныне пошлет бог кусочек здесь, завтра там: на свете не без добрых людей, кормят неимущих добрые люди.

Были между ними и старообрядцы, и православные; те и другие обо всем душеспасительном рассуждали совершенно одинаково.

Да и действительно: все различия между православием и старообрядством относятся лишь к той области внешних принадлежностей богослужения, которая называется в богословии областью «безразличных для вероучения предметов», *adiaphora*. Ни в догматике, ни в учении о нравственности старообрядчество ничем не отличается от православия. А тут люди беседовали о душевном спасении; никаких разноречий между старообрядцами и православными по вопросам этого рода быть не могло.

И набрался из этих назидательных бесед Фома Чистоплюев всей той душеспасительной мудрости, какою обладали благочестивые старцы, старообрядцы и православные. О характере и достоинстве этих душеспасительных сведений может дать совершенно достаточное понятие притча, которую он рассказывал мне с благоговением к необыкновенной полезности ее для души. Вот она:

Жил был богатый человек; и был у него прекрасный сад. А сам он был человек добрый. Вот однажды встретились ему старичок со старушкою, бедные люди, муж и жена. Он и отвел их в свой сад, сказал им: «Живите тут, пользуйтесь всем: только вот эту клеточку не отворяйте», — показал им, висит клеточка; как есть клеточка, только стеночки у нее не решетчатые, а из цельных дощечек, так что не видно, что такое в ней. И было старичку со старушкою очень хорошо жить в саду. Только любопытно было им заглянуть, что такое в клеточке. Они и не утерпели, отворили дверку заглянуть в клеточку. А в клеточке сидели воробушки. Как отворили дверку старичок со старушкою, воробушки и выпорхнули из клеточки. — «Ах, ах», — заохали старичок со старушкою; ну да уж поздно ахать: выпустили воробушков, то не поймаете. Пришел хозяин, посмотрел в клеточку, а воробушков уж нет в ней. Он и сказал старичку со старушкою: «Вы не послушались моих слов, заглянули в клеточку, то и ступайте вон из моего сада». Ну, и выгнал их из своего сада.

Выслушавши притчу, я сказал: «Фома Павлович, эта притча переделана из того, что говорится в священном писании об Адаме и Еве и о том, как они были изгнаны из рая. Вы знаете, как рассказывается об этом в священном писании?» Он сказал: «Знаю». — «То видите, Фома Павлович, в той притче взято это самое, только переделано так, что вышла сказочка». — Эта мысль не приходила ему в голову. Подумавши, он согласился: действительно так.

Для знакомых с источниками, из которых наше безграмотное простонародье почерпает дополнительные сведения, какими обогащает наследованную от предков сокровищницу своей мудрости, ясно, откуда заимствована в притче клеточка со стенками из цельных дощечек, плотными так, что нельзя заглянуть в нее иначе, как открывши ее. Какой-нибудь благочестивый старичок, дядька или камердинер конца прошлого или начала нынешнего века, когда

одним из главных предметов преподавания в великосветских семействах была мифология, необходимая для понимания тогдашней поэзии, слышал, как маленький барчонок заучивает миф о Пандоре⁹. Помнилось ему что-то смутное об Адаме и Еве; в его мыслях слилось это с мифом, понравившимся ему. Припомнилась ему народная наша поговорка: «выпустишь из клетки воробья, не поймашь». И обратился у него ящичек Пандоры в клеточку с воробушками. Понравилась его назидательная история другим благочестивым старичкам, и приспособили они ее к своему обычному собеседованию, в котором главные герои и героини — старички и старушки, сделав из Эпиметея и Пандоры — молодых людей, по мифу, — старичка и старушку. Приобретение старческого возраста героем и героинею притчи было тем неизбежнее, что, разумеется, не мог же тот камердинер или дядька удержать в памяти имена Пандоры и ее мужа; то и надобно было обозначить безыменных героя и героиню хоть какою-нибудь квалификацией.

Но что ж имеет несогласного с православием ли, со старообрядчеством ли, или каким другим вероисповеданием премудрая притча о старичке со старушкою и о клеточке с воробушками? — Совершенно ничего.

Такова-то и вся премудрость наших безграмотных простолюдинов, охотников до назидательных собеседований. Это смешная и жалкая ребяческая путаница кое-каких обрывков из библии, из чети-миней, из народных поговорок, из обыденных приключений простонародной жизни, изо всего иной раз неглупого, иной раз бестолкового, что случится услышать тому или другому безграмотному набожному старичку, той или другой богомольной безграмотной старушке, путаница жалкая и в сумме своей бессвязицы бестолковая, но — совершенно невинная и возбуждающая только сострадание к темным нашим русским безграмотным людям, умственная жизнь которых питается такою ребячески сумбурною болтовнею.

Катерине, при ее живом, деятельном характере, были скучны монотонные беседы старичков, нравившиеся ее мужу. Смеясь, говорила она мужу, что надоели ей его приятели, и если он будет продолжать водиться с ними, то она «попросит матушку» — его мать — «выгнать его из дому». — «Ты не надейся на то, что не я дочь ей, а ты ее сын, — говорила Катерина смеясь. — Она тебя на меня не променяет». Мать, смеясь, подтверждала, что, действительно, если Катерина попросит ее, то она прогонит сына с его старичками из дому. Шутки шутками, но Фома поддавался на смешкам жены и матери над скучным для них назидательным пустословием; и благодаря тому, оставался обыкновенным здраво-мыслящим человеком.

Но Катерина и, под ее влиянием, мать Фомы смеялись только над тем, что находили празднословием. Спасение души не в словах, а в делах, думала Катерина и усердно соблюдала те житей-

ские правила, которые считала установлениями истинной веры. Муж и его мать следовали ее примеру. Главными предметами ее душеспасительных забот были затруднения разобрать хорошенько, каковы правила истинной веры относительно некоторых обычаев еды и питья. Почти все старообрядческие семейства в Дубовке и ее окрестностях ели картофель, пили чай, а кое-кто из тех, у кого были средства, пили кофе. Хорошо ли это? — Набожные старички, хоть и расположены были говорить, что это нехорошо, но вообще плохо исполняли свои советы другим в собственной практике; да и не были их рассуждения авторитетны для Катерины: слишком много пустого или и вовсе глупого говорят эти старички, находила она. Например, восстают против всякого веселья, против самых невинных, честных развлечений. А Христос разве так учил? Он сам бывал на свадьбах, где славно пировали и веселились. Честное веселье положено от самого бога человеку в отдых от труда, в награду за чистоту сердца. Как же, разве не сказано: «Возвеселится праведник о Господе»? — Старички толкуют о монашестве, что в нем самое лучшее угождение богу. Это уж вовсе нехорошо, учить мужей, чтоб они бросали жен; жен — чтобы они бросали мужей, внушать отцам и матерям такие мысли, при которых дети будут брошены без призора. Много глупого в словах старичков, а жизнь у многих из них зазорная. На их рассуждения полагаться нельзя; по крайней мере без разбору своим умом нельзя полагаться, — думала Катерина и внушала мужу и его матери думать так. Но вот что, по ее мнению, было неоспоримо справедливо в словах всех вообще людей, и людей старой веры, и греко-российских людей (то есть православных): в прежние времена вера была чище. Как же не так? — В прежние времена сколько было святых? — И перечесать нельзя. А ныне много ли их? — Вовсе не видать. Добрых людей и ныне много; только, должно быть, все-таки они не то, каковы бывали люди прежде, нет между ними святых. Да и что тут говорить много? Все, и греко-российские, и люди старой веры, согласны: в старину вера была чище. Хорошо, так вот на примере прежних людей и следует основываться в разборе того, хорошо ли есть картофель и пить чай. О кофе и раздумывать нечего: кофе почти никто и из нынешних людей старой веры не пьет; стало быть, он очень грешное питье. Но о картофеле чему учит пример прежних людей? — Они не ели его. Чаю тоже не пили. Вопрос о картофеле был совершенно ясен для Катерины, а через нее и для мужа. А старухе матери было, разумеется, все равно, иметь или не иметь лишнюю приправу к щам. Таким образом, все семейство не употребляло картофеля; непоколебимо не хотело употреблять. Напрасно родственницы и приятельницы подсмеивались за это над Катериною: «У тебя в огороде не был посажен картофель, тебе приходилось бы покупать его, а тебе жаль денег; напрасно скупись: он продается дешево. Ну, да бог с тобою, скупись, когда скупись; так и быть, привезем тебе, по-

дарим мешка два, три картофеля». Но Катерина отшучивалась, как могла, и оставалась твердою последовательницею прежних людей, не евших картофеля. Вопрос о чае был для нее менее ясен. Правда, и чаю не пили, как не ели картофеля, прежние люди. Но картофеля не ели они потому, что не хотели употреблять его. Картофель всегда рос в России: Катерина была убеждена, что картофель растет в России испокон веку, подобно пшенице или овсу. Чай иное дело. Он стал известен русским недавно. В Дубовке еще живы были старики и старухи, помнившие время, когда и слуха о чае не было. Почему ж не пили чаю святые люди старых времен? Быть может, только потому, что не было его тогда в лавках, а не потому, что пить его грешно. Быть может, не грешно пить его. Быть может, святые пили б его, если б он был в их времена известен русским. Словом: дело о чае мудреное. Мысли Катерины колебались и в ту, и в другую сторону. Вообще она склонялась к мнению, что безопаснее для души не пить чаю. И, вслед за нею, муж и его мать переставали пить чай. Однажды это длилось чуть ли не целый десяток лет. Но после более или менее продолжительного, иной раз и очень долгого, воздержания от питья чаю Катериною овладевало мнение: да это пустяки, что пить чай грешно. Тогда все семейство принималось пить чай впредь до противоположной перемены в мыслях Катерины.

Так дожили они до 1866 года. Катерине было в этом году уж тридцать девять лет, мужу ее — сорок четыре года или сорок пять лет. Чем были они до этой поры? — Старообрядцами; совершенно такими же старообрядцами, приемлющими священство, как вся многочисленная в Дубовке толпа тех приемлющих священство старообрядцев, которые, по благоразумной осторожности и по душевному желанию не делать ничего запрещенного, видели себя в необходимости оставаться без общественных молитв и без совершения тех таинств, которые, по вероучению старообрядчества (как и по вероучению православной церкви), могут быть совершаемы только священником. Различие между Чистоплюевыми и находившеюся в подобном им положении массою старообрядцев состояло лишь в том, что Чистоплюевы очень усердно заботились жить сообразно с нравственными правилами, а масса их единоверцев, как и всякая масса людей какого бы то ни было вероисповедания, была в этом отношении довольно небрежна.

Чистоплюевы усердно заботились жить так, чтобы можно было им иметь спокойную надежду на свое душевное спасение. Но при расстройстве религиозных дел в старообрядчестве того края, при отсутствии духовных руководителей, они обо многих, по их мнению, важных для душевного спасения вопросах относительно нравственных правил жизни чувствовали недоумение. Один вопрос о питье чая какое мучительное затруднение представлял для них, — страшно и подумать! — Пить чай, это, быть может, такая же погибель душевная, как в великий пост есть мясо. А не пить чай, это,

быть может, значит уподобляться фарисеям, проеживающим комаров и глотающим верблюдов, фарисеям-лицемерам, закваски которых велел бояться Христос. Тяжкое недоумение. А таких недоумений мало ли представлялось темным, безграмотным людям, не имевшим никого, сколько-нибудь образованного человека, с кем бы посоветоваться.

В этом состоянии тяжких недоумений о том, какими правилами жизни обеспечивается душевное спасение, услышала Катерина Чистоплюева от Ворониной, что Богатенковы сохраняют в своем бедствии светлое спокойствие души, какое ниспосылается от бога праведным людям. Это известие сильно подействовало на нее, впечатлительную от природы и находившуюся, по своей болезни, в возбужденном нервическом состоянии.

Чистоплюевы были до сих пор очень мало знакомы лично с Богатенковыми. Родственница и друг Катерины Чистоплюевой, Воронина, была другом Богатенковой. Но эти три женщины и их семейства принадлежали, по различию своих денежных средств, к трем совершенно различным классам общества, имевшим каждый свою особую сферу жизни, далеким один от другого: и в особенности тот круг, в котором жили, пока вели обыкновенный образ жизни, Богатенковы, богатые люди, был очень далек от круга, к которому принадлежали Чистоплюевы, простые, чернорабочие люди. По личной дружбе к Ворониной, Богатенкова приветливо обращалась с ее родственницею, когда, бывая у нее, встречала Катерину Чистоплюеву. Но в близкое знакомство с Чистоплюевою не вступала. Так было, пока Богатенковы жили на широкую ногу. А когда они, занявшись своим душевным спасением, перестали веселиться, Катерина Чистоплюева вовсе раззнакомилась с Богатенковою. Дубовка осуждала Богатенковых за их уединенный образ жизни. Катерина Чистоплюева находила, что всеобщее порицание им справедливо. Сама Воронина, хотя и оставалась по давней дружбе расположена к Богатенковой, осуждала ее и ее мужа; стала бывать у них гораздо реже прежнего. А Богатенкова и вовсе редко навещала Воронину. Очень не часты стали случаи, чтобы Чистоплюевой пришлось застать Богатенкову у Ворониной; тем более, что Чистоплюева старательно избегала встреч. И вскоре по переселении Богатенковых в землянку перасположение Чистоплюевой видаться с Богатенковою довело вещи до того, что Чистоплюева вовсе перестала входить в комнаты к Ворониной, если Богатенкова была тут, или торопливо уходила от Ворониной, если видала, что входит Богатенкова. Прошло еще несколько времени, и Богатенкова увидела себя в необходимости понять, что Чистоплюева не хочет считать ее своею знакомою, не хочет говорить с нею. Это случилось так:

Жители Дубовки любят устраивать свои праздничные гулянья в местности, лежащей против их посада на другом берегу Волги; там есть рощи, между ними лужайки с прекрасною муравою. Од-

нажды Катерина Чистоплюева поехала на такое гулянье. Народу было много. Чистоплюева с приятельницами шла по лугу. Увидела, что идет к ней Богатенкова. Увернуться было нельзя: местность открытая, и люди на ней сидят, прогуливаются лишь маленькими, разбросанными группами; нет толпы, куда бы спрятаться. Богатенкова подошла к Чистоплюевой, сказала: «Здравствуйте»; Чистоплюева бросилась бежать, во весь дух перебежала по лугу к роще и остановилась, только уж далеко забежавши в глубину рощи.

Богатенкова, до той поры, вероятно, не понимавшая, что Чистоплюева не хочет оставаться знакома с нею, теперь не могла, разумеется, не разобратъ, что внушает отвращение Чистоплюевой. Знакомство их кончилось.

Выслушав историю об этой встрече на гулянье, я заметил Чистоплюевой: «Катерина Николаевна, это смех». Она отвечала: «Такой смех, что и подумать стыдно. Не молоденькая была я, чтобы поступать с такой невежливостью. Ведь мне было уж больше тридцати пяти лет. Но ничего я не помнила, что делаю. Опомнилась только, когда увидела, что забежала далеко в рощу». — «Но чего ж вы так перепугались-то?» — «Перепугалась ли я, нет ли, я сама не понимала, и теперь не разберу. Только не любила я Богатенкову; потому и помutilись у меня мысли». — «Так. Но за что ж вам было не любить Богатенкову до такой степени?» — «А я думала, что они дурные люди». — «Что ж дурного было, по-вашему, в них, в Богатенковой и в ее муже?» — «Да зачем они живут так?» — «Как же представлялось вам, что они живут?» — «Ну, живут в землянке, точно какие нищие, которым есть нечего; морят себя голодом». — «Если положить, что и в самом деле было бы, что они морили бы себя голодом, то что ж именно было бы тут дурно?» — «А вот что: разве на то дал нам бог жизнь, чтобы мы мучили себя? Мы должны жить честно да помогать друг другу. А в ком нет жалости к себе, тот будет ли других жалеть?» — «Это вы тогда так думали, Катерина Николаевна, или это нынешние ваши мысли?» — «И тогдашние, и нынешние; всегда я так думала», — отвечала она.

Нелюбовь ее к Богатенковым происходила оттого, что она думала: они мучат себя постничеством, всякими произвольными лишениями, а когда так, то, должно быть, перестали быть добрыми людьми. Но вот она услышала от Ворониной, что они в постигшем их бедствии светлы лицом, веселы духом, как подкрепляемые богом праведные. Как же это так? — Неужели ж молва Дубовки о них, которой верила она, несправедлива? — Катерина Чистоплюева стала припоминать, что могла, только не хотела прежде замечать. Действительно, то, что видела она при своих встречах с Богатенковой, было несообразно с молвою, которой верила она. Богатенкова в те годы, когда жила в землянке, оставалась полною, с хорошим цветом лица; наверное, она в эти годы не изнуряла

себя лишними постами. Да и по одежде ее в эти годы было очевидно, что напрасно Дубовка говорила, будто б она ударилась в ханжество. Пышные модные наряды она бросила, это правда. Но ей уж сорок лет. Что удивительного в том, что щегольство надоело ей? Но, бросив его, она не перестала любить быть одетою хорошо. Ее платья были теперь не новомодные, и не меняла она их беспрестанно, как делала прежде. Только и всего. Но шуба, которую носила она теперь, была сшита из дорогого меха, покрыта дорогою материею. И платья на ней в эти годы всегда были дорогие. Так припомнилось теперь Катерине Чистоплюевой; и дивилась она тому, как могла до сих пор оставаться в такой степени ослеплена своим доверием к молве, что не хотела видеть: прекрасный цвет лица Богатенковой и ее прекрасная одежда опровергают предположение, будто Богатенковы вели какой-то изнурительный образ жизни. Но их землянка? — Воронина говорила, что их землянка вовсе не похожа на обыкновенные землянки: это довольно большая, хорошая постройка; в ней две или три просторные комнаты; она подымается над землей довольно высоко, потому имеет порядочные окна; в ней не тесно; в ней светло; в ней нет духоты; она такое ж удобное жилище, как обыкновенный флигель, и отличается от обыкновенных флигелей только тем, что пол у нее ниже земли и кровля не крутая. — Катерина Чистоплюева сама сходила посмотреть эту землянку, стоявшую теперь пустою, и убедилась: действительно, это просторный, чистый, светлый, удобный домик, жить в котором было уютно. Не говоря о порядочном виде комнат, строение имело даже кладовую, чуланы. В кладовой и чуланах лежали изобильные запасы хорошей провизии. Чистоплюева не могла более сомневаться: Богатенковы помещались в своей землянке с хорошими удобствами, ели вкусно. И если Богатенков бывал по временам очень худощав и слаб, то причиною было не постничество, а просто хилое его от природы здоровье.

Молва была ошибочна. Они вовсе не мучили себя. Они только заменили свой прежний роскошный быт экономным. Они перестали тратить деньги на те веселости, которые занимательны людям, пока свежи силы и не надоел шум, и становятся скучны рассудительным людям при достижении пожилых лет.

И за это Дубовка, не потрудившись вникнуть в дело, назвала их дурными людьми; а она, Чистоплюева, верила пустой молве. — Ей было стыдно, совестно. Она чувствовала себя виноватой перед Богатенковыми; ей хотелось повиниться перед ними в своей прежней несправедливости к ним.

И не велел ли Христос навещать заключенных?

Воронина говорила, что будет посещать Богатенковых. И Катерине Чистоплюевой вздумалось посетить их. Но ее прежние отношения к ним были так дурны, что она сомневалась, захотят ли они видеть ее. Как узнать об этом? Она рассудила сделать так:

Когда простолюдины навещают находящихся в тюрьме, они

приносят им «гостинцы» (булки, хорошее кушанье, чай, сахар). Воронина в первое свое посещение принесла гостинцы Богатенковым; будет носить и в следующие посещения. Катерина Чистоплюева сказала ей: «Когда опять пойдешь к ним, возьми им гостинцев и от меня; если они примут гостинцы от меня, то и будет видно, что ты можешь спросить у них, не будет ли им неприятно, что я хочу тоже навестить их». Воронина согласилась. Когда пошла следующий раз к Богатенковым, взяла гостинцы им и от Чистоплюевой. Богатенковы приняли подарки Чистоплюевой и сказали, что не сердятся на нее за прежнее дурное мнение о них, что она может притти к ним. И когда Воронина вновь пошла к ним, взяла ее с собою.

Богатенковы приняли Чистоплюеву любезно, благодарили ее за расположение к ним. Спокойное, светлое настроение их в бедственном их положении произвело на нее сильное впечатление. Для нее стало несомненно, что в самом деле бог подкрепляет их, своих праведных, как это запало в мысли Ворониной. Она стала вместе с Ворониной довольно часто посещать Богатенковых. Это длилось месяца три или, быть может, четыре, — до самого того времени, как Богатенковы были отправлены из Дубовки в Саратов. Продолжительность периода определяю я, основываясь на том факте, что Богатенковы, арестованные на масленице, оставались на праздник преполовления¹⁰ еще в Дубовке. Чистоплюева не помнит, когда именно они были отправлены из Дубовки в Саратов; знает только, что на преполовление они еще были в Дубовке; вскоре ли после этого праздника были они отвезены в Саратов, она не умеет припомнить; но полагает, что через несколько или дней, или недель.

Когда они находились в Саратове, Чистоплюева и Воронина ездили к ним раза три навестить их и отвезти им гостинцы. Ездили они вместе — на пароходе.

Проникнувшись убеждением, что Богатенковы праведные люди, угодные богу, Воронина и Чистоплюева дошли до мысли о себе, что они «приняли веру» Богатенковых. В чем состояло «принятие веры Богатенковых» ими, будет рассмотрено мною после. Теперь пока довольно того, что, по мнению Чистоплюевой и Ворониной, Богатенковы перешли из старообрядчества в «другую веру» и что они, Чистоплюева и Воронина, тоже перешли в эту веру.

Они перешли в нее первые из тех лиц, вместе с которыми были осуждены и сосланы. И все остальные из этих лиц перешли в нее по их влиянию.

Эти лица, по счету Катерины Чистоплюевой, были:

Ее муж; мать ее мужа; тетка ее мужа;

Ее дядя (ее, то есть Катерины Чистоплюевой); его жена;

Муж Ворониной;

Соседка Ворониных и дяди Катерины Чистоплюевой, пожилая женщина.

Я после буду разбирать, насколько о ком из этих лиц основа-

тельно мнение Катерины Чистоплюевой, как человеке одной с нею «веры». Тогда я приведу и имена тех из них, которых еще не случилось мне назвать по именам.

Богатенков и его жена не вставали с места, когда Воронина и Чистоплюева входили к ним; не подавали им руки. Почему так? — Вставать при входе посещающих не должно. Подавать руки при встрече не должно. Так полагали Богатенковы. Приняв их веру, Воронина и Чистоплюева приняли эти их правила. Лица перешедшие в веру Богатенковых, по примеру Ворониной и Чистоплюевой, тоже приняли эти правила.

По этим приметам: «не встают при входе посетителей или посетительниц» и «не дают рук», все знакомые перешедших в веру Богатенковых легко и безошибочно видели, что эти люди «перешли в веру Богатенковых»; о Богатенковых вся Дубовка знала, что они «не встают» и «не дают рук».

Все то, что Дубовка говорила о Богатенковых, стали теперь говорить о Ворониных, Чистоплюевых и принявших одинаковые с ними правила относительно встреч все те люди, которые знали Ворониных, Чистоплюевых и тех других. Богатенковы, по мнению Дубовки, держались какой-то очень дурной веры, потому стали дурными людьми. Теперь то же самое стало несомненно о Ворониных, Чистоплюевых и тех других всем, кто знал этих людей или имел случай слышать о них.

Богатенковы были арестованы на масленицу 1866 года. Когда навестила их в первый раз Воронина? — Катерина Чистоплюева не умеет припомнить с точностью; но полагает: очень скоро после их ареста. — Когда навестила их в первый раз сама Катерина Чистоплюева? — Она тоже не умеет припомнить с точностью, но полагает: через несколько дней после первого посещения Ворониной к ним; это было, именно, когда Воронина пошла к ним в третий раз (при втором посещении Воронина отнесла гостинцы Чистоплюевой Богатенковым, в следующий раз взяла ее с собою). — Итак, достоверно, что посещения Чистоплюевой к Богатенковым начались вскоре после их ареста; вероятно, в самом начале великого поста, следовавшего за тою масленицею; в феврале 1866 года, вероятно.

Катерина Чистоплюева и Воронина «перешли в веру» Богатенковых очень скоро после того, как Чистоплюева посетила их в первый раз; определенным образом нельзя обозначить, через сколько именно дней или недель; этот «переход в веру» не ознаменовывался никаким обрядом, никаким внешним фактом, по которому было бы можно сказать, в какой день или в какую неделю произошел он. Дело состояло исключительно в твердом принятии мысли, что правила жизни, которым следуют Богатенковы, правила хорошие для душевного спасения. Натурально, что у людей, решавших это самостоятельными соображениями, колебания между сомнением и убеждением заменились твердым признанием себя за

вполне убедившихся не в какой-нибудь определенный день, а постепенно; хоть и скоро, но так постепенно, что сами эти люди не сумели заметить, когда именно исчезли сомнения окончательно.

Лиц, самостоятельно решавших дело, было только два: Катерина Чистоплюева и Воронина. Когда они две «перешли» в свою «нынешнюю веру», вместе с ними перешли в нее и их домашние, привыкшие сообразоваться в своих мыслях с их мыслями; это были их мужья и мать мужа Катерины Чистоплюевой.

Дядя Катерины Чистоплюевой и жена этого дяди имели привычку подчиняться влиянию семейства Чистоплюевых; тетка мужа Катерины Чистоплюевой имела такую же привычку; они «перешли» в «веру», принятую Чистоплюевыми, или очень скоро после семейства Чистоплюевых, или, насколько умеет припомнить Катерина Чистоплюева, вероятнее, — совершенно в одно время с ним.

У дяди Катерины Чистоплюевой и его жены была соседка-старушка, привыкшая следовать их мыслям; когда они последовали примеру Чистоплюевых, перешла в ту же веру и она, или очень скоро, или, насколько умеет сообразить Катерина Чистоплюева, вероятнее, совершенно одновременно с авторитетными для нее людьми, дядею Катерины Чистоплюевой и его женою.

Итак, все дело распространения веры в этом кругу ее последователей совершилось в несколько недель, если не в несколько дней. Начавшись после масленицы, — вероятно, на первой неделе великого поста 1866 года — в феврале месяце, определяю я приблизительно; потому что в этом месяце обыкновенно бывает начало великого поста, вероятно, было в феврале и в том (1866) году, — дело это было уж поконченным к концу весны, а быть может, и к середине весны того года; а быть может, и к началу весны; к концу мая месяца, наверно; а быть может, и к началу апреля; а быть может, и к началу марта.

Сущность дела была такая, что если человек вообще был способен «принять» эту «веру», то, пожалуй, и двух дней, — пожалуй, и двух часов было бы достаточно для приобретения им этой «веры». Так нахожу я. И полагаю, с моим мнением согласятся все, кто прочтет дальше, в чем собственно состоит «принятие веры», о которой идет речь.

Через несколько времени после того как Чистоплюевы стали последователями Богатенковых, они подверглись большому несчастию: у них сгорел их домик. В пожаре погибло и кое-что из движимого имущества, не все, но довольно многое; в том числе сгорели рыболовные снаряды Чистоплюева (дело случилось в такую пору года, когда рыбной ловли нет, потому все принадлежности промысла Чистоплюева хранились дома). Чистоплюевы не обнищали от пожара: деньги, какие были выручены от предшествовавшего улова рыбы, были спасены; одежду тоже успели вынести из пожара. Но хоть и далеко не обнищали, Чистоплюевы были очень разорены пожаром. Как вообще бывает с простолюдинами силь-

ного религиозного чувства, Чистоплюевы приняли бедственный случай за напоминание от бога о тщете благ земных. Этого рода мысли росли в них и доросли до того, что они решили: погубив огнем домик их, бог показал им, что не должны они жить в доме, что должны они последовать примеру Богатенковых — поселиться в землянке. Так они и сделали. Построили на своем дворе землянку и поселились в ней. Это было осенью 1868 года, вероятно, в сентябре или в начале октября; с лишком через два года — по моему приблизительному расчету, года через два с половиною — после того, как Чистоплюевы приняли веру Богатенковых.

Землянка Чистоплюевых была еще менее похожа на обыкновенную землянку, еще меньше отличалась от обыкновенных домиков небогатых людей, чем землянка Богатенковых. В землю она была опущена разве на аршин. Кроме двух-трех нижних бревен сруба, все строение было по-сверх земли. Потому окна в землянке имели такую же высоту, как в обыкновенных домиках простолюдинов. Лес на постройку был употреблен хороший. Сруб был сделан заботливо, обтеска бревен была аккуратная, красивая. Внутри стены были гладкие, выструганные. Пол и потолок были из хороших и хорошо выструганных досок. Словом, этот светлый, уютный домик представлял собою внутри удобное, даже миловидное жилище. Катерина Чистоплюева позаботилась и о том, чтобы убранство в домике было красивое: насколько позволяли денежные средства, она снабдила свое жилище хорошою мебелью; стены оклеила картинками, какие могла достать; это были большею частью рисунки, вырезанные из иллюстрированных журналов: пейзажи, птицы, лошади, портреты всяческих мужчин и женщин всяческих наций, с детьми всяческих возрастов, от младенческого до юношеского; всяческие церкви, дома, дворцы; целые улицы всяческих городов. — «Так светло, хорошо, нарядно было в нашей землянке, что просто чудо! Глядеть было весело!» — говорят о своей землянке Катерина Чистоплюева и ее муж.

Прошло месяца два-три после того, как поселились они и мать мужа в землянке. Настала половина декабря 1868 года.

Последователи Богатенковых оставались все в том же числе, сколько набралось их в первые месяцы после ареста Богатенковых; ни одного человека не прибавилось к этой крошечной группе людей в два с половиною года, прошедшие со времени принятия ими их «веры». Вот список их; — всех их, сколько их было в декабре 1868 года:

Фома и Катерина Чистоплюевы; мать Фомы Чистоплюева, Дарья Тихоновна Чистоплюева;

Тетка Фомы Чистоплюева, Матрена Никифоровна Головачева; Дядя Катерины Чистоплюевой, Антон Иванов Чугунов; жена его Марфа Акимова;

Григорий Воронин и жена его Дарья;

Соседка Чугуновых, Анна Егорова Филатова.

Итого девять человек.

Главными лицами этой группы людей были, как я уж говорил, Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева. Остальные семь человек говорили о себе, что держатся тех же мнений, каких держатся эти две женщины. Катерина Чистоплюева убеждена, что действительно все они имели одинаковые с нею понятия и что те из них, которые до сих пор живы, остаются и теперь людьми одной с нею «веры». Она убеждена и в том, что эта «вера» — та самая вера, которой держались Богатенковы, когда она виделась с ними (в 1866—1868 годах).

Для меня ясно, что в этих ее мыслях многое — чистая иллюзия. Число людей, которых основательным образом следует признать имеющими одинаковую с нею «веру», менее того, сколько считает она. Это будет очевидно из фактов, которые будут изложены далее.

Перехожу к подробностям о тех из девяти человек, перечисленных мною, о которых еще не рассказывал, или о которых, как о Ворониных и о матери Фомы Чистоплюева, рассказывал лишь мимоходом.

Мать Фомы Чистоплюева, Дарья Тихонова, принадлежала к таким матерям, у которых весь интерес жизни — любовь к детям. Страстно любя сына, она с такою же безграничною нежностью полюбила и его жену. Желания Катерины были законом для старухи. — Когда Фома и Катерина «приняли веру» Богатенковых, Дарье Тихоновой было лет шестьдесят пять, — по моему приблизительному соображению; и несомненно, больше нежели шестьдесят лет, потому что ее сыну было тогда лет сорок пять, сорок шесть. — Доживши лет до шестидесяти с лишком, вероятно лет до шестидесяти пяти, твердою последовательницею старообрядчества поповской секты, могла ли Дарья Тихонова перейти в другое вероисповедание? — Невозможного тут нет; но факты подобного рода так необыкновенны, что надобно сказать: случаи этого разряда должны быть принимаемы за достоверные не иначе, как по внимательному исследованию рассказов о них. Я разбирал рассказы Фомы и Катерины Чистоплюевых о переходе Дарьи Тихоновой в веру, принятую ими. Оказалось: они ровно ничего не знают о какой бы то ни было перемене в ее религиозных убеждениях. Они толкуют исключительно о том, что когда они стали держаться тех форм обращения с людьми, которых держатся теперь, Дарья Тихонова тоже стала держаться этих правил. Для них этого достаточно, чтобы говорить: она приняла их веру. Но дело имеет другую сторону, о которой не приходило им в голову подумать. Старуха, усердная старообрядка, привыкла считать безразличными для душевного спасения многие житейские обычаи, которыми когда-то дорожила и соблюдение которых стало уж издавна невозможным для рассудительных, осторожных старообрядцев того края. Например, старообрядцы имели всегда своим

правилом уклоняться от знакомства с православным духовенством. Но когда старообрядчество в том крае было приведено в затруднительное положение, — это началось с появлением Иакова на саратовской епархиальной кафедре, — около 1835 года, если не ошибаюсь в моих хронологических воспоминаниях¹¹, — Дарья Чистоплюева нашла неблагодарным дичиться православного духовенства. Она вставала со скамьи у своих ворот, когда, сидя тут, по обычаю простолудин, с соседками и приятельницами видела проходящего священника; если он останавливался поговорить, она любезно вела разговор с ним. Этого мало. Священники стали посещать ее, как добрую знакомую; она принимала этих гостей, как следует гостеприимной хозяйке. Мало и того. «Обходя» по праздникам «прихожан» с «крестом» — как это называется, — священники «заходили с крестом» к ней. Это значит: они приходили с принадлежностями «молебствования», — с своим церковным облачением, с разными вещами из церковной утвари. Она принимала их любезно. Они «облачались», служили молебен, ходили по комнатам, совершая каждение, кропя стены святою водою; словом, делали все то, что делали в домах у православных. Она не мешала им. Сама не молилась при их служении, не «подходила к кресту», но стояла и смотрела почтительно. По окончании молебна давала им несколько денег, сообразно тому, как делали их православные прихожане. Они признавали, что она не имеет ни малейшего намерения изменить старообрядчеству. Но продолжали «бывать с крестом» у нее. Когда началось это, ей было лет тридцать пять или сорок. Длилось это лет пятнадцать или двадцать. Настали времена, когда правительство нашло возможным облегчить положение старообрядцев. Тогда Дарья Чистоплюева согласилась с мнением сына и его жены, что теперь нет надобности «принимать священников с крестом». — Итак: присутствовать при молебнах, совершаемых в ее доме православными священниками, не казалось ей делом греховным, отступничеством от ее веры. — Я уж говорил, что когда ее сын женился, она послала его и невесту венчаться в православной церкви. — Из этих фактов ясно: Дарья Чистоплюева была женщина, не ставившая свою верность старообрядчеству в узкой формалистике. — Чем отличалась по внешности от старообрядчества вера, в которую перешли Фома и Катерина Чистоплюевы? — Тем, что следует отказаться от исполнения некоторых житейских обыкновений, относящихся к приветствованиям между знакомыми при встречах: не раскланиваться, не подавать руку для пожатия. Я полагаю, что Дарья Чистоплюева считала эти условия пустяками, из-за которых не стоит огорчать сына и его жену; кажется им, что не должно раскланиваться и подавать руку, то пусть будет так: что за охота спорить о таких мелочах? — Я думаю, что старуха подсмеивалась в душе над сыном и его женою за то, что они придают важность этим ребячествам. Я полагаю, она, в угождение сыну и его жене, оди-

наково стала бы, пожалуй, давать левую руку вместо правой или обе руки вместо одной, или, вместо подаваний руки, кашлять при встрече; или вообще поступать в этой церемонии, как угодно ее сыну и его жене. — Мудрено думать, чтоб она, дожившая до шестидесяти лет в правильных мыслях о мелочах житейской формалистики, не смеялась в душе над тем, что ее сын и его жена стали придавать важность некоторым из ничтожнейших между этими мелочами. — Но, кроме этих вещей, казавшихся ей, я полагаю, не более как ребячеством, вера ее сына и его жены имела требование совершенно иного разряда: надобно жить скромно, экономно, тихо; не следует тратить деньги на пустые развлечения, вроде пирушек. Для людей, еще не дряхлых, имевших еще силу, иной раз и охоту попить, отказаться от пирушек — конечно, составляет некоторое самоограничение; пожалуй, самопожертвование. Так это, без сомнения, было для Фомы Чистоплюева, которому тогда (в 1866—1868 годах) не было еще пятидесяти лет и который тогда, еще не будучи больным, конечно, сохранял довольно значительную дозу свежести сил из полученного от природы и не траченного ни на какие излишества атлетического запаса здоровых влечений к веселостям. Еще более чувствительным самоограничением было это для его жены, при ее очень живом характере. — Но старуха Дарья Чистоплюева, конечно, уж не имела влечения пировать. И, без сомнения, она взглянула на дело с чисто хозяйственной стороны: не сорить денег на пустые забавы, которые для нее и скучны, и утомительны, — что ж, это очень благоразумно. — В этом, я полагаю, и состояло «принятие веры» сына и его жены Дарьею Чистоплюевою: старуха была рада, что теперь дети не будут своими пирушками мешать ей проводить вечера в лежанье на кровати, и с улыбкою привыкала она угождать им в правилах относительно церемоний встречи с знакомыми.

Когда, в последние недели моего знакомства с Чистоплюевыми и Головачевой, я, уж надеявшийся на то, что мои шутки по поводу их мнений не будут принимаемы ими в обиду, позволял себе иной раз посмеяться над тою или другою оригинальностью их понятий или их манеры держать себя, я иногда прибавлял к моей шутке: «Ох, я думаю, и Дарья Тихоновна была в этом согласна со мною; только молчала перед вами, чтоб не огорчить вас». — «Может быть, — отвечали они, — не приходило нам этого о ней в голову. А может быть, она в самом деле поступала по-нашему только из любви к сыну и его жене, в угождение им». — Это говорили они, когда говорил я им всем троим вместе. А когда случалось мне высказывать мои мысли о Дарье Чистоплюевой в разговоре с одним Фомою Чистоплюевым или с одною Катериною Чистоплюевою, мне удавалось слышать и менее сомнительный ответ: «Кажется, что ты, мой друг, угадываешь это правильно; должно быть, наша старушка делала по-нашему лишь из любви к нам».

Подобно тому, как о Дарье Тихоновой Чистоплюевой, думаю я о ее племяннике, Григории Воронином, муже Дарьи Ворониной. Он был человек очень мягкого характера; он очень любил жену; он очень уважал ее; он имел привычку поступать во всем согласно ее желанию. И, сколько я могу анализировать его убеждения по рассказам Чистоплюевых и Головачевой, я нахожу, что он «перешел в веру», принятую его женою, только по угождению жене, «держался» этой «веры» только для того, чтобы не разозниться с женою.

Остаются четыре лица: дядя Катерины Чистоплюевой, Антон Чугунов; его жена; соседка Чугуновых, Анна Филатова, и тетка Фомы Чистоплюева, Матрена Никифорова Головачева.

Одно из этих лиц, Матрена Головачева, принадлежит к числу тех трех, которые жили здесь, в Вилуйске, и с которыми я познакомился и стал дружен. Потому я могу говорить об этом лице, как человек, вполне знающий его характер и мысли.

Матрена Головачева, тетка Фомы Чистоплюева, теперь старуха очень преклонных лет. Сколько именно лет ей, она не знает. Полагает, что лет семьдесят. Приблизительное соображение о верности этого ее предположения можно сделать, основываясь на ее достоверных знаниях, что она много старше своего племянника, но что его мать Дарья Чистоплюева была несколькими годами постарше ее. Итак, ей теперь во всяком случае будет лет за шестьдесят пять; а в 1866—1868 годах было лет или пятьдесят пять, или больше.

Она родилась и выросла в старообрядчестве и оставалась усердною последовательницею его до того времени, как «перешла в веру», принятую Чистоплюевыми, — то есть лет до пятидесяти пяти или больше.

В ранней молодости она вышла замуж. Ее муж был, подобно ей, из семейства, безбедно жившего работою, но не имевшего денег. По промыслу он был чеботарь; усердный и хороший работник. Благодаря тому они жили, как она выражается, «прекрасно». «Богатства у нас не было, — говорит она, — но дом у нас был полная чаша. Что ж, известное дело: когда простые чернорабочие, которые умеют только кули таскать на суда, живут у нас в Дубовке очень достаточно, то хорошему мастеру как же у нас не жить в самом прекраснейшем достатке? Ну, и жили мы с мужем так, что только благодарили бога».

Муж ее был человек «хорошей нравственности», — по-простонародному это значит, между прочим, что он не любил быть пьян. Притом он был смирного характера. «Чего ж еще желать, батюшка ты мой? Когда у жены такой муж, то должна она за него и день, и ночь богу молиться. Не всякой жене бог дает такое счастье», — говорит она. Она и смолоду умела ценить свое счастье: была благодарна богу, что у нее такой муж. Они всегда жили согласно: «Никогда у нас, друг ты мой, словечка не было

поперек сказано промежду собою. Чтоб он мне какое неудовольствие сказал или б я ему, — никогда этого не было».

Он был православный, или, как выражаются старообрядцы в Дубовке, он был «греко-российский».

— «Неужели ж, Матрена Никифоровна, у вас с ним не было никаких неприятностей из-за того, что он держится греко-российской веры, а вы старой веры?» — спрашивал я. — «Никогда, никакой размолвки, никакого спора из-за этого у нас не было, — отвечала она. — Говорила я тебе, ни из-за чего у нас не было никаких неудовольствий; ну, и из-за этого не было. Жили мы всегда в полном согласии, вот и все». — «Но позвольте, однако, Матрена Никифоровна, — продолжал расспрос я. — Вы были усердны к своей вере, когда были в старообрядчестве?» — «Ну, известно, была». — «И он был усерден к своей вере?» — «Известно; а то как же?» — «И все-таки вы с ним не спорили из-за разницы в вере?» — «Никогда». — «Да как же это?» — «А так. Он для меня хорош, я для него хороша, так чего ж еще тут?» — «Но его вера для вас была ж неприятна?» — «А что ж мне в ней было неприятного?» — «Да как же, что? Не та она, как ваша». — «Ну так что? Не та она, как моя; а неприятного в ней ничего не было. Чем она не хороша? Хорошая вера». — «Неужели ж вы так думали о греко-российской вере, когда были в старообрядчестве? Теперь вы думаете о ней так, я знаю. Но тогда, неужели ж мысли о ней были у вас, Матрена Никифоровна, те же самые, какие теперь?» — «Нет. Теперь я понимаю, что никакой, ни самой неважной разницы между греко-российской верой и старой верою нет. А когда я была в старой вере, я этого не понимала. Теперь, по-моему, греко-российская ли вера, старая ли вера — все равно. А тогда я думала, что хоть греко-российская вера тоже хороша, но что старая вера лучше. Только я и тогда понимала, что разница невелика, и потому спорить об этой разнице не стоит. Ну, и муж мой думал о своей вере так же, как я о своей: греко-российская вера лучше старой, но разница между ними не такая большая, чтобы спорить об этом. Потому и споров у нас с ним не было».

Дарья Чистоплюева, мать Фомы, очень любила Головачеву. Это было еще с самой ранней молодости Головачевой. Они виделись каждый день. Детей у Головачевой не было. Потому она имела досуг проводить у Чистоплюевых очень много времени. Она была как будто вовсе принадлежащей к семейству Дарьи Чистоплюевой. Когда Дарья Чистоплюева «перешла в веру», принятую ее сыном и его женою, перешла в эту веру и Головачева.

Почему перешла? — Она и теперь не умеет сказать в объяснение этому ничего, кроме того, что ясно было для меня через несколько минут после начала моего знакомства с нею: она последовала примеру Дарьи Чистоплюевой. На мои расспросы она постоянно отвечала одно: «Друг ты мой, Дарья Тихоновна лю-

била меня, ну и я ее любила; так что ж мне было отставать от нее?»

Действительно, в этом состояло для нее все дело.

Она женщина очень религиозная. Держится своей «веры» совершенно твердо. Но отчетливых понятий о своей вере не имеет и теперь, проживши лет шесть — во время процесса — в одной комнате с Катериною Чистоплюевою, Дарьею Ворониною и, пока была жива — года полтора — Дарья Чистоплюева, то и с Дарьею Чистоплюевою, — а по окончании процесса, проживши все время вместе с Фомою и Катериною Чистоплюевыми.

Дело в том, что, при всей своей религиозности, она женщина совершенно того склада ума, который преобладает в огромном большинстве русских простолюдинов и простолюдинок. Серьезным образом занимательны для нее только житейские дела ее самой, ее родных и других близких ей лиц. Из этого круга мыслей у нее нет охоты выходить. Думать о религиозных вопросах для нее скучно. Религиозна, очень религиозна, но много думать о «вере» ей скучно: у русских простых людей такие характеры попадают очень часто.

Сколько могу я судить, то же самое, что о Головачевой, надобно полагать о другой пожилой женщине, судившейся и осужденной вместе с нею и ее родными, Анне Егоровой Филатовой. Я полагаю, что Анна Филатова перешла в ту веру, за которую попала под суд, не имея отчетливых понятий об этой вере. Я возвращусь к вопросу об этой старушке после того, как изложу мои сведения о двух остальных лицах, о которых Катерина и Фома Чистоплюевы говорят, как о своих единоверцах, — о дяде Катерины Чистоплюевой Антоне Чугунове и о его жене.

Богатенковы, Киселевы, Воронины, Чистоплюевы были жители посада Дубовки. Отец и мать Катерины Чистоплюевой жили тоже в Дубовке. Но или все, или почти все эти семейства принадлежали к сословию удельных крестьян. О Богатенковых и Киселевых я не умею сказать этого положительно, потому что Фома и Катерина Чистоплюевы сами не разберут в своих воспоминаниях, «были ли записаны в гильдию» Богатенковы и Киселевы, или нет; и если нет, то к какому сословию — мещанскому или крестьянскому — принадлежали эти семейства. Но Воронины и Чистоплюевы были удельные крестьяне. Чугуновы тоже.

В старину весь род Чугуновых жил в Дубовке. Но общество удельных крестьян, живших в Дубовке, имело по соседству с садом большой участок земли. Когда оно стало чувствовать недостаток в земле, которою пользовалось, живучи в Дубовке, часть этого общества переселилась на тот кусок земли. Таким образом возникло селение Песковатка. От центра Дубовки до того места, на котором были построены первые дома нового селения, считалось семь верст. Потому и уцелело до сих пор выражение, что от Дубовки до Песковатки — семь верст. Но Дубовка быстро росла

в ту сторону, где Песковатка. До и сама Песковатка много выросла в сторону к Дубовке. И около 1866 года расстояние между краями Дубовки и Песковатки было уж так невелико, что Песковатка составляла как будто подгородную слободу Дубовки.

Чистоплюевы жили в Дубовке. Но, принадлежа к сословию удельных крестьян, Фома Чистоплюев считался имеющим надел в земельной даче Песковатского селения. И в этом селении была какая-то маленькая постройка, принадлежавшая ему, — что-то вроде анбара ли, или крошечной избушки, не умею сказать.

Воронин тоже имел кусок земли в Песковатке и на этом куске домик.

Николай Чугунов, отец Катерины Чистоплюевой, оставался жителем Дубовки. Брат его Антон, дядя Катерины, жил в Песковатке.

Антон Чугунов был рыбак. Продавать свою рыбу он приезжал в Дубовку. Во время весеннего улова это бывало каждый день.

Летами Антон Чугунов был много моложе отца Катерины. Был лишь немногим старше племянницы. Дядя и племянница росли почти вместе. Были дружны. Жена дяди и Катерина очень любили друг друга. Виделись беспрестанно.

Жену Антона Иванова Чугунова звали Марфою Акимовою. У них было трое детей, две дочери и один сын. Старшую дочь их звали Анною. Ей в 1868 году было двенадцать лет. Имена двух других детей Антона и Марфы Чугуновых: Дарья и Иван.

Антон и Марфа Чугуновы не имели денежных запасов. Но жили очень безбедно.

Через улицу против них жила Анна Филатова. Она была постарше Марфы Чугуновой. Была чрезвычайно дружна с нею.

Антон и Марфа Чугуновы не интересовались Богатенковыми, так что слышали об аресте их довольно смутно и не имели охоты слышать подробнее и точнее.

Но когда Катерина Чистоплюева собиралась посетить Богатенковых во второй, или третий, или четвертый раз, Дарья Воронина, вместе с которой собиралась она к ним, сказала ей, что рыба, которая была у них, уж вся вышла: «Возьми, милая, рыбы в гости-неи им». — Дело было во время весеннего улова, утром. У Чистоплюевых вся рыба была уж распродана. Катерина Чистоплюева подумала: «Антон Иванович, кажется, еще не распродал свою рыбу; кажется, еще найду его на рыбном базаре». И пошла на рыбный рынок искать дядю. Он был еще там, и у него еще оставалась нераспроданною хорошая рыба, в том числе прекрасный большой сазан. Катерина Чистоплюева выбрала самую хорошую из оставшейся у него рыбы, между прочим, и этого сазана, и стала говорить, чтоб он подарил ей отобранное ею. Он удивился: зачем ей столько рыбы на обед для троих? Да и вообще зачем ей нужна рыба от него? У нее была в это утро своя. Как же это она продала всю, не оставивши себе на обед, если хотела готовить себе

ныне обед из рыбы? — Рыбу, пойманную ее мужем, продавала она. — Она должна была объяснить дяде, почему вдруг понадобилась ей рыба. — Дядя рассмеялся и дал.

«Вот с этого-то случая, друг ты мой, и пошли у меня разговоры с дядею и его женою о Богатенковых. Ну и перешли Антон Иванович и Марфа Акимовна в ту же веру, в которую перешли мы, я с моим стариком». — Так рассказывала мне Катерина Чистоплюева.

Примеру своих друзей, Антона и Марфы Чугуновых, последовала Анна Филатова.

Катерина Чистоплюева говорит о своем дяде с уважением. Но в каждом слове ее о нем ясно слышится уверенность, что ее мысли господствовали над его мыслями. И я полагаю, что это ее чувство основательно. В таком же отношении к ней была и его жена.

Таким образом, из девяти человек той группы, к которой принадлежали Воронины и Чистоплюевы, только два лица были, я полагаю, людьми, самостоятельно державшимися тех мнений, за которые были подвергнуты суду; это Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева.

Григорий Воронин и Фома Чистоплюев приняли эти мнения, подчиняясь влиянию своих жен.

Антон Чугунов и его жена едва ли имели отчетливые понятия о том вероучении, к которому примкнули; а во всяком случае, примкнули к нему, лишь следуя примеру Фомы и Катерины Чистоплюевых.

Мать Фомы Чистоплюева, Дарья Чистоплюева, считала, я полагаю, это вероучение не различающимся от старообрядчества (или православия, в данном случае все равно) ничем таким, из-за чего стоило бы спорить, и приняла правила его лишь для того, чтоб не огорчать сына и жену сына противоречием в вещах, казавшихся ей пустяками.

Наконец Матрена Головачева и Анна Филатова были последовательницами этой «веры» лишь потому, собственно говоря, что держались принятых в ней правил обращения с людьми при встречах: не раскланиваться и не подавать руку; в этом и состояла для них обеих «вера», а приняли они эти правила по уважению — Матрена Головачева к Дарье Чистоплюевой, Анна Филатова к Антону Чугунову и его жене.

Итак, «вера», возлагавшая на своих последователей и последовательниц правила не раскланиваться и не подавать рук при встречах, приобрела весною 1866 года девять человек последователей и последовательниц в Дубовке и Песковатке.

Прошло два с половиною года, настал декабрь 1868 года. Вера неподавания руки при встречах сохраняла весь тот комплект верующих, без убавки и прибавки.

Дубовка и Песковатка хохотали над этою верою и ее девятью верующими.

В жизни верующих произошли за это время две перемены. Об одной я уж говорил: осенью 1868 Чистоплюевы поселились в землянке. Другая перемена состояла в том, что Воронины, торговые дела которых несколько расстроились, переселились из Дубовки в Песковатку, где могли жить экономнее, нежели в Дубовке.

Я говорил, что и Дубовка, и Песковатка хохотали над Воронинскими, Чистоплюевскими и их единоверцами. Но, разумеется, молвы о них, смеха над ними было несравненно меньше, нежели молвы и смеха по поводу Богатенковых и Киселевых, потому что они были люди очень не важные, мало интересные. Только Воронины принадлежали к торговому сословию; но и то лишь к мелким людям торгового класса. Что за охота была Дубовке и Песковатке много толковать о торговце, весь капитал которого ограничивался несколькими тысячами рублей? А все остальные семь человек были чернорабочие: два рыбака, жена чеботаря, жена какого-то другого мужика. Кроме родных и личных знакомых, кому был интерес заниматься их поступками? — О них говорили, только когда вспоминали о Богатенковых; в этих случаях распространяли на них те порицания и бранные прозвища, которые призывала молва употреблять о Богатенковых: «дурачье», «сумасшедшие», «безумные».

В два с половиною года их вера не приобрела ни одного нового последователя, ни одной последовательницы. Почему не приобрела? — Причин было две. Во-первых, у них не было никакой потребности пропагандировать. Они думали только о собственном душевном спасении. Учить других они не считали себя ни призванными от бога, ни способными. Все они были люди совершенно темные. Никто из них не умел читать. Никто из них не имел даже и такого объема сведений по догматике и по истории церкви, каким обладает большинство безграмотных людей между православными и между старообрядцами, посещающими общественные моления своей секты. Все они были люди смиренные и желавшие быть благоразумными; потому все они молились только по домам, повинаясь постановленному в том крае со времени закрытия старообрядческих часовен запрещению старообрядцам собираться для общественных молений. Я говорил об этом. Говорил и о том, каково было натуральное последствие воздержания безграмотных старообрядцев от участия в общественных молениях: не слыша ни богослужения, ни отрывков из священного писания, они постепенно забывали то, что когда-то знали, и напоследок их сведения по догматике и церковной истории упали до чрезвычайной скудости и сбивчивости. — Скрамные и неглупые люди, дошедшие до такой нищеты религиозных сведений, не могли не понимать, что не годится им учить других. А Чистоплюевы и Воронины были люди скромные и неглупые. Уж по одному этому они дол-

жны были чуждаться всякой мысли о пропагандировании своих мнений и удерживать от этого остальных своих единоверцев. Да вовсе и не клеилась их «вера» с мыслями о пропаганде. Сущность их религиозных влечений состояла в заботе о собственном душевном спасении. Они были заняты мыслями только о том, чтоб им самим удостоиться благоволения божия. Не об основании какой-нибудь секты думали они; нет; только о том, чтобы вести богоугодную жизнь. Они хотели быть людьми чистой нравственности только в сущности. Кто серьезно предан делу собственного нравственного совершенствования, у того нет ни досуга в мыслях, ни склонности выступать проповедником; исключений из этого правила мало показывает история религиозной жизни. Например, наши четь-минеи почти обо всяком из тех святых православной церкви, которые были проповедниками веры, говорят, что он лишь по принуждению от других принимал на себя проповедническую деятельность, а кого из святых не принуждали к проповедничеству повеления его начальников или духовных наставников, те вообще и не выступали проповедниками.

Итак, по обыкновенному свойству людей, заботящихся исключительно о собственном нравственном самосовершенствовании, Чистоплюевы, Воронины и их единоверцы не имели склонности учить других.

«О своей душе мы думали; куда нам было учить других? — говорили мне Катерина и Фома Чистоплюевы. — Да и что ж мы, вовсе глупые, что ли, чтобы нам можно было не понимать, какие мы люди: безграмотные; учить других, то хоть читать-то надо бы уметь».

Итак, они и их единоверцы не делали ни малейших попыток распространять свою «веру».

Но если бы и имела эта вера в числе своих последователей кого-нибудь, склонного проповедывать ее, она не могла бы приобрести новых последователей. Сущность ее такова, что она ни при каких усилиях, ни при каких, пусть бы хоть и самых благоприятных, условиях ничем не стесненной, публичной пропаганды не могла бы приобрести столько последователей, чтобы стать хотя бы крошечною сектою, — сектою, которая имела бы хоть сотню последователей. Она — явление совершенно случайное, мимолетное; явление, не могущее итти дальше ничтожной группы нескольких лиц, подчинившихся, по привычке родства или многолетней дружбы, влиянию совершенно исключительной, нисколько не пригодной к широкому распространению формы религиозного чувства, овладевшей двумя-тремя людьми, прожившими десятки лет в родственной или дружеской близости между собою. Я возвращусь к этому, когда изложу сущность «веры» моих друзей, Катерины и Фомы Чистоплюевых (и Матрены Головачевой, насколько добрая старушка имеет эту «веру», то есть очень мало). Теперь пока я лишь объясню тот факт, что эта «вера» в два с половиною года не

приобрела ни одного нового последователя, ни одной последовательницы: сколько людей приняли ее в первой половине 1866 года, столько ж их было и в конце 1868 года: девять человек; да девять лишь по счету наивной Катерины Чистоплюевой; а по моему счету, человек пять, шесть из этих девяти.

Осмеиваемые всеми, кому случалось вспомнить о них, эти люди, ничтожные по своему общественному положению, прожили в своей вере два с половиною года, не предполагая, что в их заботах о своем душевном спасении может оказаться что-нибудь не согласное с законом.

Но около половины декабря 1868 года Чистоплюевы услышали, что единоверцы их, жившие в Песковатке, — Чугуновы, Воронины, Филатова — арестованы. На другое утро Фома и Катерина Чистоплюевы пошли в Песковатку навестить арестованных. Когда они разговаривали с арестованными, подошел к ним полицейский служитель и объявил им, что велено оставить под арестом и их. Через несколько времени пришел становой пристав и обратился к Фоме и Катерине с вопросами, изумившими их, показавшимися им грубою, нелепою и нечестивою насмешкою; и Катерина Чистоплюева отвечала ему на эти возмущавшие ее душу вопросы народными поговорками, какими русские мужики и мужички заставляют молчать кощунствующих купцов; это поговорки шуточные; шутка для русского простолюдинья служила любимой формою выражать негодование. — Вот этот разговор Катерины Чистоплюевой с предлагавшим ей и ее мужу возбуждавшие в них негодование и действительно нелепые вопросы становым приставом.

Как увидел Фому и Катерину Чистоплюевых, становой пристав обратился к ним с вопросом: «Бог есть у вас?» Катерина сказала на это: «Где бог!» Становой сказал: «На небе». Катерина сказала: «Небо, там никто не был». Становой сказал: «А царь у вас есть?» Катерина отвечала: «А где же царь?» Становой сказал: «Угодно, я принесу портрет». Катерина сказала: «Я портретам не верю».

Становой кончил на этом свой удивительно уместный диспут с русскими мужиком и мужичкой, будто с какими-нибудь парижскими *ouvriers* *, между которыми не в диковинку атеисты, и которые уж и тогда, в 1868 году, были почти сплошь республиканцами. Становой пристав, очевидно, воображал, что Дубовка и Песковатка — Париж, что сам он *sous-préfet* ** Сенского департамента и что беседа его с Фомою и Катериною происходит на французском языке. Разочарованный в иллюзии, что придуманные им вопросы очень умны, он крикнул полицейским: «Посадить этих людей в темную» и ушел.

* Рабочими. — Ред.

** Помощник префекта. — Ред.

Я возвращусь к разговору, который привёл с буквальной точностью, как несколько раз передавала мне его, всегда совершенно одними и теми же словами, Катерина Чистоплюева.

На следующее утро Фома и Катерина Чистоплюевы были отправлены в Царицын.

Воронины, Чугуновы и Филатовы были уж отправлены туда раньше их.

Через месяц были арестованы и также отправлены в Царицын Дарья Чистоплюева и Матрена Головачева.

Было арестовано еще несколько человек, — человек пять или шесть, кажется, — по предположению, что и они держатся той же веры. Но эти предположения были найдены неосновательными, и те пять или шесть человек были освобождены от суда. Я считал излишним делать обременение моей памяти напрасною заботою удерживать в ней их имена.

Подсудимыми остались только девять человек, которых я перечислял:

Григорий и Дарья Воронины; Антон и Марфа Чугуновы; Анна Филатова; Дарья, Фома и Катерина Чистоплюевы; Матрена Головачева.

Чугуновым было сначала позволено, чтоб их дети находились при них. Через несколько времени старшее из их троих детей, девочка Анна, умерла.

Дарья Чистоплюева, Марфа Чугунова, Григорий Воронин умерли во время процесса.

Дожили до конца процесса и — сколько я знаю, до сих пор остаются живы — шесть человек из девяти; это:

Дарья Воронина; Антон Чугунов; Анна Филатова; Фома и Катерина Чистоплюевы; Матрена Головачева.

Процесс длился больше пяти лет, — с декабря 1868 до марта 1874 года. Года полтора, или несколько больше, подсудимые содержались под стражею в Царицыне; после того были отправлены в Камышин; оставались там тоже года полтора; откуда были отправлены в Саратов и пробыли там тоже года полтора. Их понятия о формах судопроизводства и о ходе их процесса так слабы и темны, что я не мог найти в их рассказах никаких объяснений для этих перемещений их из Царицына в Камышин, оттуда в Саратов. Но, само собою разумеется, это было делаемо по каким-нибудь вполне основательным и совершенно законным причинам. Относительно того, что были переведены они из Камышина в Саратов, — из уездного города в губернский, и притом такой, где находятся центральные учреждения судебной власти того судебного округа, — я предполагаю, что мотив тут был самый доброжелательный в пользу подсудимых: судебная палата, когда рассматривала доставленное ей предварительное следствие, желала, я полагаю, поближе присмотреться к подсудимым с тою снисходительною целью, чтобы увидеть, не найдется ли какого-нибудь законного повода

прекратить дело освобождением этих — по документам предварительного следствия палата без сомнения видела — жалких невежд, нелепо впутывавших себя в преступные выражения на допросах предварительного следствия. Едва ли я ошибаюсь, предполагая у судебной палаты это сострадательное желание. И если она не исполнила его, то лишь по невозможности добиться от несчастных невежд рассудительных слов, которые дали б ей какое-нибудь законное основание постановить приговор о прекращении процесса. — Это лишь мое личное соображение. В рассказах моих темных друзей я не мог найти ничего ни в опровержение, ни в подтверждение ему. Они совершенно темные люди, такие темные, что у них не являлось даже потребности подумать: да почему ж не оставляли их все время процесса находиться под стражею в Царицыне, а переводили их в другие города? Они чувствовали себя до такой степени бессильными понимать факты процесса, что не являлось у них и попыток подумать, что такое, как и почему совершается над ними. Они во все продолжение процесса держали себя, как бараны: вообще молчаливо и смиренно; и — иной раз, в избытке душевного страдания, издавали резкие, бессмысленные звуки, метались стремглав куда попало, — и после того опять стояли смиренно и молчали. С людьми, которые держат себя бессмысленно, какого толку можно добиться? — Не добились толку с ними судебная палата и принуждена была их бестолковостью отказать от надежды спасти их, нашла себя в необходимости постановить решение о предании их суду. Так я думаю об отношениях судебной палаты к предварительному следствию: оно показывало ей, что это люди, достойные всякого сострадания, но говорившие на допросах вещи, преступные по закону; переделать этого она не нашла возможности и должна была предать бессмысленных невежд суду; жалела о том, что не могла поступить иначе.

В начале 1874 года подсудимые были отправлены из Саратова в Царицын, где должен был происходить суд над ними. Царицынский окружный суд назначил днем решения их процесса 8-е марта. В суде несчастные невежды держали себя так, что уж и одного этого, независимо от нелепостей, наделанных ими на допросах предварительного следствия, было бы вполне достаточно для отнятия у присяжных заседателей всякой возможности произнести какой-нибудь иной вердикт * о них, кроме вердикта: «да, виновны». — И они были приговорены — к какому именно наказанию? — к ссылке ли в Восточную Сибирь на поселение? или к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири? или, быть может, к какому-нибудь иному, подобному этим, но иному какому-нибудь наказанию? — разобрать этого из их слов я не мог. Они полагают, будто б они слышали в суде, что приговорены они к ссылке в Вилюйский округ. Дело очевидное: они

* Приговор. — Ред.

не поняли выражений приговора о них. Они воображают, что в приговоре было сказано то, что узнали они где-нибудь в Томске или в Иркутске о распоряжении местной административной власти, сделанном на основании судебного приговора, конечно, не определявшего с такою точностью местность, где поселить их.

Сделав этот общий очерк процесса, перехожу к подробностям о нем, какие умели припомнить и рассказать мне мои бедные, темные друзья.

По правилам своей веры, подсудимые должны были оставлять защиту свою исключительно богу. Потому они не должны были говорить ничего в свое оправдание. Пусть будут взводимы на них какие бы то ни было обвинения: они должны молчать в уповании, что если бог захочет показать их судьям их невинность, то покажет ее и без их вмешательства. Оправдываться, это значит не иметь веры в покровительство божие. Такое неверие — грех.

Но это нелепый образ мыслей? Конечно, не я, принадлежащий к той школе философского мышления, которая называется атеизмом, могу иметь сомнение в том, что образ мыслей моих несчастных друзей о теологических вещах вообще, и в частности о покровительстве провидения им, не выдерживает анализа. Но вопрос здесь вовсе не о том, считаю ли я, или считает ли кто-нибудь иной какое-нибудь убеждение основательным. Вопросы здесь могут идти лишь о том, сообразны или не сообразны данные убеждения людей, о которых идет дело, с догматами христианства, и составляют ли они, или нет, преступления против законов русской империи.

Кому из христианских богословов угодно, те могут, с точки зрения житейской опытности, смеяться над мыслью: «провидение защищает невинных; невинные должны уповать на это». Но — всякое отрицание этой мысли — отрицание одного из основных догматов христианской веры. Всякая ортодоксальная книга и у православных, и у католиков, и у протестантов подтвердит: это один из основных догматов христианства.

А что касается законов русской империи, они постановляют одним из основных правил уголовного судопроизводства юридический принцип: подсудимый не обязан отвечать ни на какие вопросы; ему предоставлено право молчать.

Итак, благоразумно ли, или нет было правило, держаться которого желали, сообразно своей вере, подсудимые, в нем не было ничего несообразного с православием (или католичеством, или ортодоксальным протестантством) и ничего противного законам русской империи.

И если б у них достало силы неуклонно держаться этого правила, то они были б совершенно оправданы судом. В том не может быть ни малейшего сомнения ни у какого хорошего юриста.

Но — легко для верующих верить в то, во что искренно и го-

рячо верят они. Иное дело неуклонно держаться правил своей веры в тяжких, продолжительных житейских затруднениях.

Ни у кого из подсудимых не достало силы неуклонно молчать на допросах. И они — каждый раз, как изнемогала их воля хранить молчание, говорили глупости; а иной раз говорили вещи — и совершенно глупые, и с тем вместе преступные.

Все хорошие юристы всех цивилизованных стран согласны в том, что следователь должен начинать допрос формальным констатированием личности подсудимого. Простейшим и достовернейшим средством исполнить эту очень важную формальность все они считают предложение подсудимому вопрос о его личности (о его имени, звании и т. д.). Я не знаю, поставлено ли русскими законами соблюдение этого юридического обряда в непререкаемую обязанность следователю. Но думаю, что поставлено. А во всяком случае, оно было соблюдается лицами, производившими в предварительном следствии допросы подсудимым. Прекрасно. Эти следователи соблюдали важный юридический принцип, соблюдение которого повелевал им, я полагаю, и положительный русский закон.

Но что из того выходило?

Приводят на допрос, положим, Фому Чистоплюева. Следователь спрашивает его: «Как тебя зовут?» Чистоплюев молчит. — Как должен поступить в подобном случае опытный юрист? — Это предусмотрено и разъяснено в ученых книгах о юриспруденции; я полагаю: предусмотрено, решено, поставлено в обязанность следователю также и русским законодательством.

Следователь предлагает подсудимому какой-нибудь вопрос. Подсудимый молчит. Если подсудимый, как известно следователю, не глух и не нем, следователь записывает в акт допроса: «Подсудимому был предложен такой-то вопрос; подсудимый не отвечал на него». Если же следователю неизвестно, глух или нет, нем или нет подсудимый, то следователь разъясняет себе эти вещи, спрашивая о том у людей, лично знакомых с подсудимым, или экспертов по данным предметам — например, медиков — и вносит в акты их показания, что подсудимый не глух и не нем, но на предложенный такой-то вопрос не отвечал. — Во всяком случае, процедура относительно вопроса, на который не отвечает подсудимый, должна состоять в констатировании факта, что подсудимый не отвечал, и констатированием этого факта должна кончаться. Так говорит юриспруденция; и говорит так, если я не ошибаюсь, положительный русский закон.

Но следователю воображалось, что он обязан добиваться, чтобы подсудимые отвечали на вопросы о их личности. Результатом было, что подсудимые, утомленные его настойчивостью, теряли силу сохранять молчание. И давали ответ. Но какой ответ был это! — Ответ, действительно способный до глубины души возмутить следователя, — если следователь не провел много лет своей

жизни над изучением чети-миней и тому подобных книг или не жил долгие годы среди простых людей интенсивной религиозности. Я взял для примера то, как держал себя Фома Чистоплюев. Буду и продолжать пример на его ответах.

«Как тебя зовут?» — спрашивает следователь. Чистоплюев молчит. Следователь повторяет и повторяет вопрос, постепенно приходя в раздражение. Чистоплюев чувствует наконец: невозможно отделаться молчанием; надобно отвечать; и отвечает: «Не знаю». — Имей следователь живое понятие о священных легендах православной церкви, он не затруднился бы возратить себя к утраченному им спокойствию духа. Он знал бы, что Чистоплюев смиренно исполняет его требование и дает ему ответ, свидетельствующий о покорности воле начальства. Но следователь, не знакомый с языком священных легенд, принимает ответ за дерзость и горячится больше прежнего.

Не хочу продолжать. Я не виню следователя. Я убежден, ему казалось, что он поступает, как обязан по закону. Я говорю только, что он не имел тех знаний, которые были бы ему необходимы для сообразного с кроткими — относительно религиозных отрицательностей нашего невежественного простонародья — желаний правительства, для соответствующего духу распоряжений правительства относительно раскольничьих дел, для хорошего ведения следствия.

Не хочу продолжать о следователе. Нахожу надобным рассказать лишь те из возникавших на допросах фактов, которые были преступлениями подсудимых; преступлениями, бесспорно, тяжкими.

Не всегда подсудимые успевали сохранить на допросах спокойствие души. И иногда допросы обращались в площадную перебранку между следователем и подсудимым.

Ругаться с чиновником судебного ведомства во время исполнения им его должностных обязанностей, это составляет нарушение закона, подлежащее наказанию; какому именно, я не знаю определенительно; думаю, довольно тяжелому. Но это не составляет уголовного преступления. И наказание за это, как бы ни было тяжело само по себе, без сомнения, не принадлежит к разряду наказаний уголовных. Во всяком случае, оно очень мало важно сравнительно со ссылкой на поселение. И судьба подсудимых была бы счастлива сравнительно с участью, которой подверглись они, если бы следователь не увлекался своею горячностью в перебранке с подсудимыми до профанации того, чего вовсе не должен был касаться в этой неуместной фазе обмена тривиальных слов, до которой никогда не унижаются опытные следователи, умеющие помнить, что они — должностные лица, обязанные держать себя с достоинством, говорить спокойно и рассудительно и говорить лишь то, что необходимо по предмету речи. — Из-за чего и собственно о чем шли споры? — Только из-за того, что под-

судимые не хотели произносить своих имен; только о том, может ли следователь удовлетвориться внесением в протокол допроса факта, что они не хотят называть своих имен. Только из-за этого, только об этом шли споры. Но при своем раздражении следователь кричал в этих перебранках из-за чисто формального несогласия, будто бы спор идет о боге и о царе. Результатом было, что он слышал иногда в ответ простонародные выражения, какие издавна употребляются в перебранках, когда нападающий впутывает в свои бранчивые выходки неуместные обороты речи о боге и о царе. Я разберу после, каков действительный смысл этих простонародных выражений. Но бесспорно то, что кажущийся ясным для незнакомых с действительным их смыслом буквальный смысл их, если предлагается судебному решению, не может не быть признан по судебному решению преступным.

Как скоро следственные документы, констатировавшие употребление этих выражений некоторыми из подсудимых и принадлежность всех других подсудимых к одинаковому с теми их соподсудимыми образу мыслей сделали предметом судебного решения, никакие судьи, никакие присяжные заседатели не могли не найти, что подсудимые виновны в уголовном преступлении.

Приговор был бесспорно правилен.

Во время суда произошло обстоятельство, значение которого с формальной стороны я не умею определить, по смутности воспоминаний моих друзей о главном моменте его, но которое, я полагаю, не имело реального влияния на решение суда.

То заседание царицынского окружного суда, в котором были судимы Воронины, Чистоплюевы и другие, судившиеся вместе с ними, началось производством других процессов, — каких-то заурядных уголовных процессов, по делам каких-то воров или каких-то мошенников. Процессы эти были ведены, само собою разумеется, в присутствии публики. Когда они были кончены и суд должен был перейти к процессу Ворониной, Чистоплюевых и их соподсудимых, суд постановил производить их дело при «закрытых дверях», — как передают это постановление на своем простонародном языке мои друзья; я полагаю, это значит, что суд сделал постановление об удалении публики из судебного зала. Подсудимые подняли шум, требуя, чтобы их судили в присутствии публики. — Окружный суд послал в Саратовскую судебную палату телеграмму с уведомлением об этом факте и вопросом, как тут поступить. Саратовская судебная палата отвечала телеграммою, постановлявшею, что процесс должен быть произведен, как велит обыкновенный судебный порядок, в присутствии публики. Подсудимые успокоились и, сколько умеют понять мои друзья, держали себя от самого начала судебного процесса до самого конца его с должным почтением к суду.

Итак, постановление царицынского окружного суда, подавшее повод к прискорбному инциденту, было отменено; следовательно,

было или неосновательным, или ненужным. Тем не менее, я должен признать, что царицынский окружный суд сделал это постановление по соображению, чуждому всякой недоброжелательности к подсудимым. В процессе должна была идти речь о выражениях, буквальный смысл которых оскорбителен для особы государя императора. Если я не ошибаюсь, закон повелевает, что при подобных процессах суд совершается не в присутствии публики. С этой точки зрения то постановление окружного суда было законно и справедливо. Саратовская судебная палата отменила это постановление, конечно, лишь потому, что не нашла действительно оскорбительными для особы государя императора те выражения, которые казались такими окружному суду. Она, как ясно из этого, угадывала, что подсудимые не могли иметь намерения оскорблять особу его величества. Угадывала и была права в своей догадке. Но — как быть! — не имела она власти спасти подсудимых. Буквальный смысл тех нелепых слов преступен. Она могла только сожалеть о несчастных.

Я не сомневаюсь в том, что и царицынский окружный суд желал бы спасти их. Не мог только.

Возвращаясь к вопросу о влиянии рассказанного мною инцидента на судьбу подсудимых.

Подсудимые подняли шумный говор по поводу постановления окружного суда о производстве их процесса не в присутствии публики. Что именно говорили они в эти минуты? — Они были так взволнованы, что сами не помнили хорошенько, в чем состояли их слова. Само собою разумеется, это были слова протеста против постановления, взволновавшего подсудимых. Мои друзья полагают, что не ошибаются, припоминая, будто протест был высказываем в выражениях резких, вроде следующих: «Ваш суд неправый; вы судьи несправедливые; за что вы хотите осудить нас, невинных?» — Такие выражения, конечно, были обидны для судей. Но я убежден, что судьи легко возвысились над чувством не заслуженной ими обиды, остались, как были, доброжелательны к несчастным. И если шумный говор подсудимых заключал в себе оскорбление только суду, он был, я убежден, оставлен великодушием судей в стороне от всякого влияния на приговор.

Но только ли против судей говорили подсудимые в своем волнении? Не случилось им, в этом омрачении мыслей, повторить в зале суда те преступные слова о боге и о царе, которые вырвались у них при перебранках с следователем на допросах? Мои друзья не уверены, что не было так; они не помнят, было ли так; но считают вероятным, что было так, что те преступные слова были повторены в зале суда.

Итак, вероятно, что в самое время суда над несчастными невеждами были произнесены ими слова, произнесение которых тут составляло такой факт, что он и один сам по себе, независимо от фактов, собранных предварительным следствием и, вероятно,

излагавшихся в обвинительном акте, прочтенном прокурором, отнимал у суда всякую возможность спасти подсудимых.

Если, как я, основываясь на свидетельстве моих друзей, считаю вероятным, факт был действительно таков, — если действительно были, в тот инцидент волнения, произнесены подсудимыми те преступные слова, инцидент имел громадное формальное значение: он делал бессильными всякие попытки поколебать достоверность фактов, составлявших содержание обвинительной речи. Пусть бы доказано было на суде, что все пункты обвинения, выставленные прокурором на основании предварительного следствия, неверны, несправедливы. Все равно: по устранении всей обвинительной речи, оставался бы на решение суда факт, произошедший теперь же, здесь же, в зале суда; факт, не подлежащий спору по своей достоверности и, несомненно, неопровержимо преступный.

Таково было формальное значение инцидента, предполагая, что в нем действительно были произнесены те преступные слова. Но реального влияния на судьбу подсудимых он, я полагаю, не имел, если и были действительно произнесены тут эти слова, что считают вероятным мои друзья. Реальное значение приобретал бы инцидент лишь при оспаривании достоверности фактов, приводимых обвинительною речью. Но эти факты не оспаривались, сколько я могу сообразить по смутным воспоминаниям моих друзей. Кажется, что подсудимые ровно ничего не возражали против обвинительной речи. Кажется, они оставили своим молчанием эту речь имеющую значение правды, признаваемой ими за правду, против которой они не имеют ничего возразить. Кажется, было так. А когда так, то и без инцидента, как при инциденте, фактические основания для вердикта присяжных и приговора судей были равно тверды.

Краткий вывод из этих моих соображений о прискорбном инциденте состоит в следующем:

Если подсудимые не вполне погубили себя до начала судебного разбора их процесса, то они довершили свою гибель этим инцидентом. Но я полагаю, что они уж окончательно погубили себя преступными словами на допросах. Потому инцидент уж ничего не прибавил к их бедствию. Оно и без него было бы таково же. Оно и без него было бы неотвратимо никакою сострадательностью суда.

Во время судебного разбора дела подсудимые умудрились совершить еще подвиг невообразимо нелепой бессмыслицы. Эта нелепая выдумка их невежества не составляла, сколько я могу судить, преступления в точном смысле юридического понятия о преступлении. Но она, без сомнения, произвела потрясающее впечатление на судей, как произвела бы потрясающее впечатление на всякого рассудительного человека, сколько-нибудь грамотного. Я не знаю, имели ль право судьи оставить этот факт не внесенным

в протокол судебного заседания. Если имели право не записать, то, без сомнения, оставили незаписанным; я убежден, они желали не отягчать судьбу подсудимых и оставляли в стороне все вредное для подсудимых, что могли по закону оставлять без внимания.

Дело было, по воспоминаниям моих друзей, так:

Подсудимые сказали: «Прокурор не вызвал» — или: «следователь не вызвал» — они не знают хорошенько разницу между словами «прокурор» и «следователь» и перепутывают эти слова; итак, они сказали: «Прокурор (или следователь) не вызвал нашего свидетеля», — то есть свидетелей, которые, по их мнению, дали бы показания в их пользу. — Председатель суда тоном строгого порицания обратился к прокурору (или следователю) с вопросом: «Как же это вы не исполнили требования подсудимых?» Спрашиваемый встал и сказал председателю: «Я не мог». Председатель сказал: «Почему не могли?» Спрашиваемый сказал: «Я не могу сказать, почему я не мог сделать этого»; сказавши эти слова громко, спрашиваемый подошел к председателю и, наклонившись к его уху, прибавил несколько слов шопотом. Председатель обратился к подсудимым и сказал: «Того, чего вы желали, нельзя было сделать». Подсудимые выслушали ответ председателя в молчании, без возражений.

Желание подсудимых, исполнить которое было невозможно председателю суда, состояло в том, чтобы вызван был в суд в качестве свидетеля — Каракозов.

Услышав это имя, я подумал, что ослышался, и сказал: «Пожалуйста, повторите, кого желали вы иметь свидетелем за вас; может быть, я неправильно расслышал». — Мои друзья совершенно спокойно, как будто считают то свое желание мыслью самого простого и рассудительного, повторили все в один голос: «Мы просили, чтобы вызвали Каракозова». — «Ну, теперь я вижу, что я расслышал фамилию правильно. И, когда так, то я спрошу вас, кто ж такой тот Каракозов, которого вы желали иметь свидетелем в вашу пользу? Я слышал эту фамилию. Но мне хочется понять, о том ли Каракозове думали вы, о котором слышал я, или, может быть, о каком-нибудь совсем другом человеке с такою же фамилиею». — «Мы вызывали того самого Каракозова, о котором слышали все». — «Так; но я все-таки спрошу вас еще, чтобы мне не ошибиться в том, об одном ли и том же Каракозове мы говорим. Что такое слышали все о Каракозове, о котором вы говорите?» — «Он стрелял в царя Александра Николаевича». — «Теперь нельзя мне ошибиться в том, кто был Каракозов, о котором вы говорите: тот самый Каракозов, о котором слышал и я. Но только вот что я скажу вам: должно быть, вы знали о нем меньше, нежели знаю я. Если бы вы знали о нем то, что знаю я, вы не просили бы, чтоб он был вызван в суд свидетельствовать в вашу пользу. Председатель суда сказал вам совершенно справедливо, что сделать этого было в то время невозможно». — «Ну, вот!

невозможно! Просто, им не хотелось вызвать его; только и всего», — возразила мне Катерина Чистоплюева, которая вообще первенствовала над двумя другими моими друзьями в случаях споров со мною; ее муж и его тетка во всех таких случаях только выражали свое согласие с нею. «Нет, Катерина Николаевна, не то, что судьи не захотели уважить ваше желание, а в самом деле невозможно было исполнить его. Действительно невозможно, потому что Каракозова тогда уж не было в живых». Все трое встрепетнулись, слыша такую новость. «Так он умер?» — «Да, Катерина Николаевна. Его уж не было в живых и тогда». — «Вот что!» — задумчиво проговорила Катерина Николаевна и после паузы раздумья спросила: — «Когда ж он умер? Ты не слышал?» — «Слышал, Катерина Николаевна; очень скоро после того как заговорили о нем все, уж и не стало его в живых». Чистоплюева один миг смотрела на меня в недоумении; но быстро сверкнуло в ее взгляде выражение, показывавшее, что мои слова стали для нее ясны, и она засмеялась с добродушным снисхождением; покачала головою и сказала: «Так вот она в чем твоя новость-то, которой ты было удивил-то нас! Вот об чем ты говоришь-то! Это об том, что будто его повесили-то?» — «Об этом, Катерина Николаевна». — «Так вот оно что! А мы думали, ты слышал, чего мы не слышали, что он умер после когда-нибудь. А эти-то пустяки мы тогда же слышали, когда и все их слышали. Так неужели же ты поверил этому пустому слуху, будто его повесили? Ну, ну! Я о тебе так не думала, что ты можешь этому верить. Не было этого, мой друг милый. Это только напечатано было так в газетах, чтобы все читали и верили, кто не должен знать по-настоящему. А и ты тоже поверил! Эх, ты!» Она опять покачала головою в удивлении, что я поверил пустому слуху. — «Ну, когда ты не знаешь, как было дело, то надо рассказать тебе. Стрелял он в царя Александра Николаевича; зачем стрелял?» — «Он хотел убить царя Александра Николаевича; так я слышал, Катерина Николаевна». — «Нет, мой милый друг; совсем не то: этот выстрел был лишь для виду; надобно было сделать этот вид. И надобно было это царю Александру Николаевичу; ну, Каракозов и сделал это, по согласию с царем Александром Николаевичем». — «Вижу: вы слышали, Катерина Николаевна, то, чего я не слышал. Что правда, что неправда, разберем, когда я дослушаю все, Катерина Николаевна. А теперь пока я только спрошу вас, правильно ли я понимаю ваши слова. Вы говорите, Каракозов сделал выстрел по приказанию самого же царя Александра Николаевича?» — «Видишь ли ты, мой друг: о чем и как они говорили между собою перед этим, мы не слышали в подробности; потому неизвестно, царь ли Александр Николаевич призвал к себе Каракозова и дал ему приказание, или Каракозов сам пришел к нему, чтобы самому вызваться на это. Только, так ли, или иначе, было это сделано по уговору между ними, по согласию». — «Катерина Николаевна,

да верно ли это?» — «Друг ты мой, да как же не верно-то? Об этом во всех газетах тогда же было напечатано. Только надо было понимать. Известно: о таких делах как пишется в газетах? Так, чтобы, кто может понять, понял; а кто не понимает, те пусть не понимают». — «Неужели это было напечатано в газетах, Катерина Николаевна?» — «Было; говорю я тебе: было. Это сам царь Александр Николаевич сказал; как он сказал, те самые его слова и были напечатаны в газетах». — «Как же он сказал?» — «А вот как. Дело-то это было на площади; ну, народу было много тут; Каракозов при всем народе подошел к царю Александру Николаевичу и сделал выстрел для виду; а царь Александр Николаевич обернулся к народу и сказал: «это великая тайна». Ну, так эти слова его и напечатаны были тогда во всех газетах». — «Катерина Николаевна, действительно ли было напечатано так в газетах?» — «Было. Царь Александр Николаевич обернулся к народу и сказал: «это великая тайна»; — этими словами он сказал, они самые и были напечатаны во всех газетах».

Расскажу теперь, из каких элементов сложилась эта нелепость, засевшая в головах моих бедных, темных людей и их единомышленников.

Людам моих лет или старше меня памятно, какая молва ходила в 1856 и следующих годах по поводу условий мира, которым закончилась Крымская война. Всякий, живший в образованном обществе, встречал тогда множество довольно высоко или даже высоко поставленных людей, уверявших, будто бы кроме обнародованных условий мира есть «тайные», гораздо более обнародованных тяжкие для России или унижительные для ее достоинства. И каждый из этих тайноведцев сообщал по секрету всем и каждому дипломатические тайны, в которые удалось ему проникнуть. Не хочу перечислять эти пошлые выдумки, которым верило тогда большинство образованного общества. По надобности для предмета моей речи напомним лишь две из них. Говорили, что Россия обязалась уплатить Франции громадную военную контрибуцию. Говорили, что Франция предписала русскому правительству видоизменить некоторые из русских тогдашних учреждений.

Переходя из образованного общества в полуобразованное, молва принимала характер еще более глупый; переходя из полуобразованного общества в безграмотную массу, получила еще более определенную дурацкую форму.

И во многих местностях безграмотное население приобрело об условиях мира сведения следующего рода:

Русское царство стало подвластно французскому царству. Русский царь платит подать французскому царю и должен во всем слушаться его приказаний. Французский царь имеет в русском царстве своих чиновников, которые смотрят, чтобы везде в русском царстве исполнялось то, что велит французский царь делать в русском царстве русскому царю. Все это секрет. Французский царь очень хитрый. Он понимает, что если бы русский народ

узнал об этом, то вступился бы за своего царя. Русский царь еще лучше французского знает это. Но только война так расстроила русскую силу, что начинать теперь новую войну с французским царем было бы слишком тяжело для русского народа. А русский царь очень добрый к своему народу, жалеет его. Ну, и решился терпеть всю эту обиду от французского царя и держать в секрете до поры до времени. Придет время, поправится сила у русского народа, ну, тогда русский царь и откроет тайну о своей обиде от французского царя, объявит все. Тогда и выгонит чиновников французского царя из своего царства и оплатит французскому царю за свою обиду.

Само собою разумеется, в каждой отдельной местности, в каждом особом кругу простонародья данной отдельной местности были какие-нибудь особые подробности, приросшие к этому общему содержанию молвы.

В той части Дубовки, где находились домики Ворониных (до переселения Ворониных в Песковатку, бывшего годами десятью позже того), Чистоплюевых, Головачевой, молва имела прибавку такого содержания:

Когда французский царь потребовал, чтобы русский царь обязался слушаться его, то поставил условие, чтобы русский царь в знак покорности его воле отдал ему свою шубу. И — нечего делать! — русский царь отдал ему свою шубу. То, что русский царь снял с себя шубу и отослал французскому царю, напечатано в газетах. Кто не имеет понятия, читает это и не понимает; думает, что все дело тут и есть в шубе. А кто имеет понятие, видит, о чем тут дело. Стало быть, и сомнения тут быть не должно у умных людей.

Я не помню, какими подарками обменивались между собою, по обычной международной любезности, заключившие мир 1856 года государи держав, воевавших перед тем между собою. Но, вероятно, в числе подарков русского императора французскому действительно находился какой-нибудь хороший мех на шубу. И вот какой-нибудь полуграмотный мудрец, прочитав в какой-нибудь газете об этом подарке, понял, в чем дело, и украсил к назиданию своих безграмотных слушателей уж известный всем им общий фон молвы новым, оригинальным узором.

По особенностям личных моих житейских дел, мне было бы неприлично говорить здесь о том, согласен или не согласен лично я с общим мнением России, Западной Европы и Северной Америки о личном характере его величества, царствующего ныне государя императора. Но я должен сказать, что это всеобщее мнение имеет в моих несчастных друзьях совершенно необыкновенную горячность. И так как их мысли окрашены религиозным оттенком, то они думают о государе императоре, что он человек святой.

Люди, очень горячо убежденные в чем-нибудь, вообще довольно мало расположены думать, что кто-нибудь может искренно

иметь мнение, противоположное их убеждению. А в особенности таковы люди горячих религиозных убеждений.

Когда мои друзья слышали о выстреле, сделанном Каракозовым, они не могли поверить, что человек русской фамилии имел ненависть к царю. Это никак не укладывалось в их понятия. Это не могло быть так, как рассказывают об этом люди, читавшие газеты. Эти люди, должно быть, не умели понять то, что прочли в газетах. Таково было первое впечатление, произведенное на Ворониных, Чистоплюевых, Чугуновых пересказами первых газетных известий о выстреле, сделанном Каракозовым.

Они стали вдумываться, вслушиваться и очень скоро поняли, в чем тут дело.

Им припомнилось, о чем толковала целый год, быть может, целые года два, лет десять тому назад, вся Дубовка. Русский царь принужден был покориться французскому царю. Из этого ясно, в чем дело теперь. Очевидно, что французский царь велит русскому царю сделать что-нибудь такое, чего русский царь не хочет исполнить; без сомнения, что-нибудь дурное, что против совести и что вредно для России. Как было русскому царю отклонить это требование? — Объявить войну еще нельзя. Стало быть, надо было придумать какое-нибудь возражение, которым мог бы удовлетвориться французский царь. Придумано и исполнено то, что придумано. Каракозов сделал выстрел в царя. При множестве народа. Французскому царю нельзя сомневаться: выстрел действительно сделан. И русский царь говорит французскому: «Видишь, нельзя мне исполнить твое требование; за то, что я хотел исполнить его, был сделан выстрел в меня. Не могу, сам видишь». Что может возразить против этого французский царь? Ничего. Должен признать, что потребовал невозможного; должен отступить от своего требования.

В том, что все это было так, невозможно сомневаться. Сам царь сказал, что это так. Надобно только уметь понимать, что такое он сказал. Он сказал: «Это великая тайна». Ясно, о чем он говорил: об этом самом. Кто не знает тайны, не поймет. А кто знает тайну, видит, что царь сказал: этот выстрел был для виду, чтобы была отговорка от требования французского царя. Так сказал царь; это напечатано во всех газетах.

Бедные, темные люди, мои несчастные друзья уразумели дело из слов самого царя.

Но откуда попало в их головы, что царь, после выстрела, сказал: «это великая тайна»?

Припомним, что имя выстрелившего оставалось несколько времени неизвестным. В это время газеты и говорили: «имя его еще не узнано»; «кто он — остается еще загадкою»; «на этом факте еще лежит мрак тайны»; и тому подобные обороты речи, с употреблением слова «тайна». — Полубезграмотные чтецы газет в Дубовке спотыкались, читая известия, писанные слишком мудре-

ным для них языком; их безграмотные слушатели еще больше перевирали слышанное, пересказывая другим. И, таким образом, вышло, что в рассказах, дошедших до моих несчастных друзей, размышление какого-нибудь журналиста о личности Каракозова, как о личности, еще составляющей тайну, было передаваемо, будто бы это слова государя императора, и было относимо не к вопросу о фамилии выстрелившего человека, а к самому факту выстрела.

Та глупость о тайных, тяжких, унижительных условиях Парижского мира¹², бывшая предметом всеобщей молвы в 1856 году, была уж давным-давно осмеяна и, после осмеяния, забыта образованными и полуобразованными классами в 1860 или 1861 годах. Это я наблюдал сам. В 1866 году она была, без сомнения, мало кому сколько-нибудь памятна и в простонародье. В этом отношении она тогда составляла уж действительно «тайну»: число людей, которым оставалась она известна, было очень невелико. Теперь, по прошествии еще двенадцати лет, это уж и тем больше «тайна».

Объяснивши происхождение нелепости, засевшей в темные головы моих несчастных друзей, перехожу к выводу, который они сделали из нее, — к выводу, результатом которого был тот инцидент.

Каракозов действовал по согласию с царем, оказал важную услугу царю. Из этого натурально следует, что о казни его говорилось в газетах тоже только «для вида», с целью обмануть французского царя. На самом деле Каракозов, разумеется, награжден и благополучно живет, пользуясь расположением и доверием царя.

А когда так, то, без сомнения, дело должно было повернуться в пользу Ворониной, Чистоплюевых и их соподсудимых, если выступит в этом деле свидетелем Каракозов. Он объяснит судьям «тайну»: ему, как человеку, пользующемуся доверием царя, судьи не могут не поверить. И подсудимые будут оправданы.

Что ж, как скоро та нелепица — не нелепица, а истина, этот вывод имеет неоспоримую силу.

Понятно теперь, почему, для чего Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые желали, чтобы Каракозов был вызван быть свидетелем. Лишь бы вызвали его, их оправдание было несомненно.

Но суд отказал им в этом желании. Что ж, это легко понять: суд, стало быть, находится под властью у французского царя Наполеона. Когда так, то подсудимым, разумеется, оставалось только покориться своей судьбе: от Наполеона они не могут ожидать пощады; они называли его антихристом.

И когда инцидент кончился тем, что желание подсудимых было отвергнуто судом, подсудимые знали, чего им ждать: тяжкого наказания. Их мысли были подавлены этою перспективою; и когда вслед за окончанием инцидента началось судебное про-

изводство дела, они, в тупом отчаянии, оставались мало способны слышать, еще меньше способны понимать, что говорилось, что читалось на суде.

Мои друзья помнят, что прокурор говорил речь в обвинение их. Но что говорил он? — Они помнят из его речи лишь одно то, что он говорил: «вот какие это люди: они все охулили; господа присяжные, извольте рассудить, какие это люди: они все охулили».

После того помнится им только то, что председатель суда спросил какого-то свидетеля: «можешь ли ты отвечать перед богом за подсудимых?» — и что свидетель отвечал: «могу, ваше превосходительство, и даже с удовольствием»; — что после того присяжные ушли из зала; возвратились в зал; и что председатель суда объявил им (то есть подсудимым) приговор.

Они не помнят даже того, что был произнесен присяжными вердикт. Они не слышали этого. До такой степени были они подавлены своими тяжкими мыслями. (Они не знали до моих разъяснений, что присяжные решают вопросы о виновности; они полагали, что присяжные не участвуют в решении дела, и находятся в зале суда лишь в качестве слушателей.)

Впрочем, подавленность их мыслей не имела влияния на исход дела. Если б они во время суда и вполне владели своими умственными способностями, они не сумели бы защищаться; и если б умели они защищаться, все равно: никакая защита не помогла б им: обвинения против них были неопровержимо справедливы — по прямому, для всех очевидному смыслу тех слов, какие произносили они на допросах, — неопровержимо справедливы: это были слова, по прямому, буквальному своему смыслу, бесспорно преступные.

Мои друзья не помнят никаких подробностей из обвинительной речи прокурора. И я могу восстанавливать ее содержание в мыслях лишь по соображениям моим о том, что помнят мои друзья о допросах, которым были подвергаемы на предварительном следствии, и о других фактах периода их жизни от их арестования до суда над ними.

Процесс их длился более пяти лет. Само собою разумеется, что в течение столь продолжительного времени не могло не произойти несколько случаев нарушения тюремной дисциплины теми или другими из числа подсудимых. Я убежден, что прокурор не вводил в свою обвинительную речь эти тюремные дрязги. В уголовных процессах не должно быть речи о подобных дрязгах; место для разбора их — контора тюремного смотрителя и тому подобные дисциплинарные суды, а не суд присяжных. Я уверен, прокурор не хуже моего понимал это. И мне приятно, что я имею убеждение: он не вводил этих дрязг в свою обвинительную речь. Приятно потому, что я не хочу выставлять обвинений против маленьких должностных лиц тюремной администрации, возбуждав-

ших эти нарушения дисциплины со стороны подсудимых своими поступками. — Итак, оставляю тюремные дрязги без разбора. И рад, что могу сказать: вообще говоря, тюремные сторожа, тюремные смотрители обращались с Ворониными, Чистоплюевыми и их соподсудимыми хорошо. Неприятности, без которых можно было бы обойтись, если и делал иной раз кто из этих должностных лиц моим друзьям или их соподсудимым, то лишь в самое первое время своего заведывания их жизнью, пока не присмотрелся к ним поближе. А присмотревшись к ним, каждый тюремный смотритель, каждый сторож обращался с ними дружелюбно и доверчиво. В Царицыне ли, в Камышине ли, в Саратове ли, все равно: во всякой тюрьме, где приводилось им жить, они, через месяц, через два по поступлении в нее, становились во мнении смотрителя, сторожей, часовых людьми почтенного характера, присматривать за которыми — дело излишнее, на благородство которых можно вполне полагаться; и они жили в тюрьме подобно тому, как живут люди под домашним арестом на честное слово.

Перехожу к тому, что действительно должно было составлять и, как я думаю, составляло содержание обвинительной речи прокурора, к предметам, подлежащим уголовному суду.

Поводом к арестованию Ворониных, Чистоплюевых и их соподсудимых было, очевидным образом, то, что по процессу Богатенковых и Киселевых было найдено: Воронины, Чистоплюевы и те другие лица — последователи Богатенковых. Это очевидно из того, что главным — и в сущности даже единственным серьезным — предметом допросов Ворониным и другим было предложение им вопроса: держатся ль они тех же мнений, как Богатенковы. — Все они отвечали на это: «Да».

И теперь Фома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева вполне убеждены о себе и обо всех трех других своих соподсудимых, которые еще живы, что они «одной веры с Богатенковыми».

Но вот вопрос: много ли они знают о «вере Богатенковых»? — До арестования Богатенковых они знали о «вере Богатенковых» только то, что знала вся Дубовка; то есть: знали те оригинальности внешних житейских обычаев Богатенковых, над которыми смеялись, которые порицали вместе со всею Дубовкою. И только всего. То есть, собственно об убеждениях Богатенковых не знали ровно ничего. Из всех подсудимых лишь одно лицо, Дарья Воронина, вела знакомство с Богатенковыми в период со времени перемены образа жизни Богатенковых до их ареста; и не разговаривала тогда с ними о их «вере» потому, что это повело бы к ссоре: Воронина тогда осмеивала и порицала «веру» Богатенковых, оставалась знакома с ними лишь по мотивам чисто житейским, вела с ними разговоры лишь о чисто житейских предметах. — По арестовании Богатенковых Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева навещали их в тюрьме; эти посещения и были единственными

источниками знаний этих двух женщин об убеждениях Богатенковых. Много ли тут можно было узнать? — Посещения были очень короткие — длились только по несколько минут; и это время было наполнено разговорами о том, какие съестные припасы, какие другие вещи надобно принести в следующее посещение, рассказами Богатенковых о мелочных приключениях их тюремной жизни, рассказами посетительниц Богатенковых о новостях в Дубовке: у кого родилось дитя, кто заболел, кто выздоровел, у кого готовится свадьба и т. п. Результатом траты краткого времени свиданий на обычную у наших простолюдинов пустую болтовню о мелких текущих новостях было то, что Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева не успели сколько-нибудь порядочно ознакомиться с образом мыслей Богатенковых. Они, впрочем, и не замечали этой недостаточности своих сведений по своей умственной неразвитости. — Муж Ворониной, муж Чистоплюевой, другие их соподсудимые знали о мыслях Богатенковых только то, что слышали от Ворониной и Чистоплюевой, то есть почти ровно ничего, кроме пустых мелочей. И тоже, по своей умственной неразвитости, вполне довольствовались этими ничтожными сведениями.

Катерина Воронина, Дарья Чистоплюева и их соподсудимые очень уважали Богатенковых, держались их правил относительно обращения с людьми при встречах; если этого достаточно, чтобы признать уважавших и подражавших принявшими «веру» людей, которым они подражали, то бесспорно: Дарья Воронина, Катерина Чистоплюева и их соподсудимые «приняли веру» Богатенковых. И, по своей умственной неразвитости, они считали это совершенно достаточным; потому совершенно искренно воображали себя держащимися веры Богатенковых.

И на вопросы следователя, одинаковы ли их убеждения с убеждениями Богатенковых, они отвечали: «Да».

Этим их ответом неоспоримо твердо с формальной стороны устанавливался юридический факт одинаковости их мыслей с мыслями Богатенковых. — Прокурор, присяжные заседатели, судьи были правы, признавая этот факт за бесспорный.

Но он факт лишь формального значения. Он лишь порождение невежества Дарьи Ворониной, Катерины Чистоплюевой и их соподсудимых, не замечавших, по своей умственной неразвитости, что их сведения о мыслях Богатенковых ничтожны. Это факт фантастический. Воронина, Чистоплюева и их соподсудимые ошибались, воображая, будто бы достаточно знают мысли Богатенковых. Они не знали о мыслях Богатенковых ничего, кроме пустых мелочей.

Но вот вопрос: да и было ли в мыслях у Богатенковых что-нибудь, кроме ничтожных мелочей о правилах обращения с людьми при встречах? — Очень вероятно, что и не было в мыслях у них ничего, кроме этих невинных глупостей.

Конечно, я говорю тут лишь о мыслях, могущих быть предметом судебной оценки. — Богатенковы в заботах о своем душевном спасении вели жизнь, несколько подобную монашеской. То же и Воронины, Чистоплюевы, другие их соподсудимые. Монашеский образ жизни может быть предметом насмешек и порицаний со стороны людей, которым более нравится обыкновенный образ жизни. Но по законам Российской империи предметом судебного разбора монашеский образ жизни быть не может.

Я надеюсь, те лица судебного ведомства, которые вели процесс Богатенковых, знали это. Я надеюсь, в процессе Богатенковых не было речи ни о том, что они перестали бывать на пирушках и сами давать пирушки, ни о том, что они жили в землянке. — Я надеюсь, ни о чем таком не было ни одного слова в актах их процесса. Я надеюсь, лица, судившие их, уважали законы Российской империи. Надеюсь, уважали и лица, производившие следствие.

Итак, я надеюсь, Богатенковы не были судимы и осуждены за свою набожность.

За что ж они были судимы и осуждены?

Я могу иметь лишь предположения о том. — Когда Фома и Катерина Чистоплюевы были арестованы, полицейский чиновник, сделавший распоряжение об их аресте, пришедши взглянуть на них, обратился к ним со словами: «Бог у вас есть? царь у вас есть?» — Если причиной их ареста была принадлежность их к «вере» Богатенковых, то эти слова ясно показывают, что Богатенковы оказались по актам следствия виновными в атеизме и республиканстве. Это лишь мое предположение. Но факт, на котором оно основано, — факт, что Чистоплюевым были предложены вопросы: «Бог у вас есть? царь у вас есть?», — не допускает по правилам здравого смысла никаких иных истолкований, кроме того, что Богатенковы уж оказались в то время атеистами и республиканцами.

Республиканство Богатенковых пусть, на первый раз, остается республиканством. Но — каким же манером могли быть атеистами люди, так усердно заботившиеся о своем душевном спасении? — Сколько известно грамотным людям, атеисты не признают загробной жизни.

Ясно: обвинение Богатенковых в атеизме — результат какой-то нелепейшей бессмыслицы.

Кто породил эту бессмыслицу? — Я полагаю, что она порождена дурацким способом, какого держались Богатенковы в своей манере рассуждать на допросах. Я полагаю, что они поступали на допросах подобно тому, как после них Воронины и Чистоплюевы.

То же самое я полагаю и о республиканстве Богатенковых. Я полагаю, что они точь-в-точь такие же республиканцы, как сплошь все русские мужики и бабы, — что они не имели ни малейшего представления ни о каком ином правительственном устройстве, кроме самодержавного. Но держали себя на допросах

фио-дурачки. И оказались республиканцами, как оказались атеистами, как оказались бы всем на свете, чем угодно: и астрономами, пожалуй, или санскритологами, если бы спросить их, не астрономы ль они, не санскритологи ль они.

Невеждам были предлагаемы вопросы, не понятные для них. В этом причина бедствия, постигшего невежд. Так я полагаю относительно Богатенковых.

Я полагаю так относительно их потому, что я имел, благодаря моему знакомству с Чистоплюевыми, достоверную возможность увидеть: так было с Чистоплюевыми и их соподсудимыми.

Я говорил, что лишь по моим собственным соображениям разгадываю, в чем состояли обвинения против Богатенковых. Никаких сведений о содержании этих обвинений не имеют Чистоплюевы и Головачева. До такой степени пусты были разговоры Ворониной и Чистоплюевой с Богатенковыми во время их кратких свиданий, что Богатенковы не ознакомили своих посетительниц с содержанием допросов, которым подвергались. Некогда было Богатенковым упоминать об этом: они имели всегда более свежие новости для сообщения своим гостям; предположим, что допрос был в понедельник, а посетительницы пришли в среду в полдень; утром в среду произошло в тюрьме уж столько любопытных историй между разными арестантами — десяток ссор и десяток примирений; в четверть часа не успеешь пересказать и половины этих интересных происшествий; не то, что о понедельнике, — и о вторнике-то уж поздно припоминать.

Таким образом, все, что Катерина Чистоплюева знает о бывшем с Богатенковыми во время их процесса, ограничивается пустейшими мелочами их отношений к тюремным сторожам и к арестантам: вот такой-то сторож был добрый человек, не притеснял Богатенковых; вот такой-то арестант, скверный человек, вздумал было ругать Богатенковых, но тюремный сторож вступился за них или другие арестанты сами остановили того скверного арестанта. Общее впечатление этих пустых подробностей состоит в том, что тюремные сторожа и большинство арестантов считали Богатенковых людьми, делающими глупости, потому смешными и жалкими, но помимо этих глупостей людьми добрыми и почтенными; по жалости и уважению к ним старались воздерживаться от смеха над ними в глаза им и не обижали их; а Богатенковы, люди действительно добрые, честные, старались — иногда не без успеха — удерживать других арестантов от пьянства, карточной игры, мошенничеств и драк.

Важнее мелких анекдотов о насмешках арестантов над Богатенковыми и о сострадательности других арестантов и сторожей к ним те отрывки из рассказов полицейских чиновников о Богатенковых, которые попали в предметы молвы и дошли путем молвы до Ворониных, Чистоплюевых и других, судившихся вместе с ними.

Дубовская молва говорила, будто бы полицейские чиновники рассказывали, что Богатенковы держали себя на допросах очень смиренно и безмолвно переносили неприятности, какие случалось им испытывать при допросах. — Впрочем, это лишь молва; правильно ли передавала она рассказы полицейских чиновников, ручаться за то нельзя.

Другой предмет дубовской молвы о Богатенковых состоял в следующем:

Однажды, на праздник преполовления, утром, Богатенков и его жена, содержавшиеся тогда еще в Дубовке, в арестантской при полиции, стояли у ворот полицейского двора, обращенных на площадь. На этой площади находится соборная церковь. Когда кончилась обедня, по площади двинулась из собора церковная процессия, бывающая по уставу православной церкви в день преполовления. Большинство народа, бывшего у обедни в соборе, пошло в этой процессии; другая часть стала расходиться по домам. Некоторые, проходя мимо ворот полиции, останавливались посмотреть на стоявших у ворот Богатенковых. Лишь образовалась тут группа остановившихся, стали подходить к ней другие, как это в привычке у простонародья. И быстро выросла около Богатенковых большая толпа. Кое-кто — очень немногие — говорили о них между собою сострадательным тоном: «Вот, были прежде люди богатые, всеми уважаемые, а теперь стали арестанты». Но таких сострадательных зрителей было вовсе мало. Совершенно преобладало в толпе противоположное настроение: шумел рев хохота и ругательств; беспрестанно слышались крики: «в каторгу бы этих чертей»; — «нет, этого мало, сжечь бы их». — «Да отдали б их на расправу нам, мы бы расправились с ними, с безбожниками». Богатенков слушал это до конца молча. Но жена его не выдержала напоследок и сказала ругавшимся: «Ну, что вам стоять, глядеть на нас да ругаться? Ругаться нехорошо, а глядеть на нас — что в нас любопытного? Лучше вы обернитесь-ко к церкви, да помолитесь, да и ступайте за образами, как другие; это будет лучше». Кое-кто из ругавшихся были смущены и пошли прочь; как был дан этот пример, последовали ему, по обыкновению, все. Толпа разбрелась.

Когда Воронина, Чистоплюевы и их соподсудимые жили в саратовском остроге, тюремные сторожа и другие полицейские служители рассказывали им, что при чтении приговора Богатенковым на той площади Саратова, где происходят эти юридические формальности, Богатенковы стояли с лицами спокойными; и, по прочтении приговора, Прасковья Богатенкова сказала бывшему на площади народу: «Первые жиды Христа мучили, а вторые жиды мучат невинных». Народ отвечал на это, разумеется, взрывом хохота и ругательств.

Я не сомневаюсь в том, что приговор, произнесенный над Богатенковыми, был юридически правилен; я даже полагаю, что суд, по состраданию к ним, сделал его настолько мягким, насколько

то было возможно по закону. Я говорю вовсе не против судей. Я расположен был бы защищать законность их приговора, если бы то было надобно. И я надеюсь, что судьи, постановившие приговор о Богатенковых, нашли бы согласными с их собственным мнением об этом деле мои мысли о нем. Мои мысли о нем состоят в следующем:

Во всем том, в чем были виновны Богатенковы, они были виновны единственно по своему невежеству.

Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые отвечали «да» на вопрос о том, держатся ли они таких же мнений, как Богатенковы. Этот их ответ делал необходимостью для присяжных заседателей и для судей признать их виновными в тех преступлениях, за которые были уж осуждены Богатенковы. Я уж говорил, что признаю бесспорно законным такой исход их процесса. И, думая это, я с тем вместе думаю, что судьи, постановившие приговор, признаваемый мною за бесспорно правильный, одобрили бы мои мысли относительно сущности всего этого дела, основанные на фактах, или неизвестных суду, или хоть и бывших известными ему, но не могших быть предметом судебного разбора.

Я говорил, что Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые оставляли без ответа вопрос следователя о их имени и звании или, когда бывали утомлены настойчивостью требований следователя, чтоб они отвечали на этот его вопрос, давали ответ: «Не знаю»; что их молчание и этот их ответ выводили следователя из терпения и что он, рассердившись, начинал бранить подсудимых, надеясь бранью добиться, чтобы допрашиваемые сказали ему свои имена и звания; что подсудимые были иногда тоже выводимы из терпения сыпавшеюся на них бранью и вступали в перебранку с следователем. Иной раз допрос и не подвигался дальше перебранки: поругавшись, сколько доставало охоты, следователь приказывал подсудимым уйти, и они уходили. Иной раз — и чаще — бывало иначе: подсудимые, давши две, три реплики на ругательства следователя, вспоминали, что нарушили этим правило христианского смирения, повелевающего кротко переносить обиды, и начинали вновь — и уж с непоколебимым терпением — слушать ругательства молча, смиренно, покорно. В таких случаях следователь через несколько времени возвращался от роли ругающегося человека к исполнению обязанности должностного лица, производящего следствие, и возобновлял прерванное на время занятие производством допроса; уж не имея теперь желания терять время попусту, он заменял ту форму вопроса об имени и звании подсудимых, на которую не могли подсудимые отвечать удовлетворительным образом, другою формою, на которую подсудимые безо всякого затруднения давали ответ, казавшийся следователю удовлетворительным; именно, вместо вопроса «как тебя зовут» или «кто ты», он делал вопрос: «Тебя зовут, — следовало имя, — так?» Спрашиваемый или спрашиваемая давали

ответ в форме: «Когда ты знаешь, стало быть, так», или в форме какого-нибудь другого выражения, обозначающего согласие или подтверждение.

Для ясности приведу схематические образцы всех этих оборотов первой фазы допроса.

Первый оборот. Следователь говорит подсудимому, например, Фоме Чистоплюеву: «Как тебя зовут?» Чистоплюев молчит. Следователь повторяет вопрос много раз, кричит, сердится: «Да как же тебя зовут, говори», — затем следуют разнообразные эпитеты, которыми богат русский язык. «Говори, как тебя зовут?» Чистоплюев молчит. «Говори, как тебя, — следуют эпитеты, — зовут?» Чистоплюев отвечает: «Не знаю». — «Как не знаешь?» — следуют эпитеты. Чистоплюев молчит. Утомившись ругать его, следователь велит ему уйти. И допрос кончен.

Второй оборот. Следователь, получивши ответ «не знаю», ругает Чистоплюева, не впадая в утомление, очень долго. Чистоплюев теряет напоследок терпение и дает реплики. Это длится, пока надоест следователю. Когда надоест, следователь велит Чистоплюеву уйти. И допрос кончен.

Третий оборот. Давши две, три реплики следователю, Чистоплюев успевает овладеть собою и замолкает. Теперь его уж никакие ругательства не выведут из терпения. Следователь снова пользуется приятным положением монологизирующего ругающегося. Насладившись этим удовольствием до пресыщения, вспоминает, что он должен не ругаться, а производить допрос, и говорит: «Ты Фома Чистоплюев; так?» Фома Чистоплюев отвечает: «Когда ты так говоришь, то значит: так».

Как скоро получился этот оборот, допрос, не могший в тех двух оборотах передвинуться через вступительную формальность констатирования личности, вступает на гладкий путь и «пойдет как по маслу». Ни малейшего повода к неудовольствию не будет иметь следователь; и ни малейшего затруднения узнать что бы то ни было, услышать подтверждение чему бы то ни было следователь не встретит: Фома Чистоплюев не огорчит его никаким противоречием, будет неизменно подтверждать все, что угодно следователю. Если, например, следователь скажет: «Катерина Чистоплюева не жена тебе?» Фома Чистоплюев скажет: «Стало быть, не жена». И если, например, вздумается следователю поиграть позанимательнее на эту тему, допрос получит, например, следующее прекрасное содержание: «Она не жена тебе, а жила с тобою?» — «Жила». — «А она девка?» — «Девка». — «Девка, а жила с мужчиною; стало быть, она б....?» Фома Чистоплюев неукоснительно подтверждает: «Стало быть, б....»; — и так далее, и так далее. — Это для примера. Но это фактический отрывок одного из допросов.

Были ль внесены в акты допросов предварительного следствия эпизоды этого и тому подобного содержания? — Я не знаю.

Надеюсь, были внесены. Правда, следователь мог бы оставить и без разъяснения любопытные для кого? — для него лично, по всей вероятности, вопросы о том, б.... или нет Катерина Чистоплюева, была ль она прогоняема из дому, или нет за свое б.....; мог бы оставить эти и тому подобные вопросы без формального разъяснения следствием. Но так как он находил надобным разъяснить их и разъяснил, то он был уж обязан занести эти добытые им разъяснения в акты следственного дела.

Перенесены ль эти эпизоды из документов предварительного следствия в обвинительную речь прокурора? — Я не могу угадать. Я не могу судить, показалось или не показалось прокурору, что эти эпизоды необходимы для его речи. Я знаю одно: ни один из юристов, пользующихся авторитетом в науке, не отказался бы подтвердить мое мнение: без перенесения этих эпизодов из актов предварительного следствия в обвинительную речь, речь эта не имела бы надлежащей полноты.

Виню ли я следователя? — Нет. Я говорю, что он ругался, что он предлагал вопросы, которых не должен был предлагать. Так; но я говорю это лишь для того, чтобы видно было, какую степень юридического достоинства имело предварительное следствие. Я вхожу в положение следователя. Оно было тяжелое. Потому я нахожу совершенно натуральными те поступки следователя, о которых говорю. Я полагаю, он сам согласился бы со мною, что ведение следствия по делу Ворониных, Чистоплюевых и их соподсудимых было задачею, превышавшею его юридические силы. Он мог очень хорошо исследовать дела об убийствах с корыстными целями, о грабежах, воровствах, мошенничествах. Вести дело богословского и политического характера было не под силу ему. — Он мог уметь допрашивать воров и других бесчестных людей. Но приемы допросов, дававшие дельные результаты, когда он допрашивал негодяев и негодяек, оказались непригодны для раскрытия истины, когда были применены к Ворониным, Чистоплюевым и их соподсудимым. Сущность дела осталась неуловима этими приемами. Результаты, добытые предварительным следствием, были данными чисто фиктивного характера. С формальной стороны, они бесспорные юридические факты: — как же бы нет? Они подтверждены признанием самих подсудимых. Но реального в них нет ничего.

Виню ли я хоть тех лиц, которые поручили производство следствия, требовавшего значительных юридических сил для своей действительной успешности, следователю, не имевшему таких сил? — Возможно ль винить эти лица? — Откуда ж взять хороших юристов для замещения всех маленьких должностей по судебному ведомству?

Винить кого бы то ни было из лиц, заведывавших судебною частью в том судебном округе, было бы нелепостью. Винить следователя было бы несправедливым забвением о несоразмер-

ности его сил с доставшейся на его должностную обязанность задачей.

Не виню никого.

Возвращаясь к изложению сущности дела о Ворониных, Чистоплюевых и их соподсудимых.

Следователь в негодовании на то, что подсудимые не хотели называть себя, бранил их. Иногда они, теряя в свою очередь терпение, отвечали на его брань репликами тоже бранчивыми. Чем определяется в перебранке содержание реплик? — Дело всем известно: содержанием нападения; реплика не имеет самостоятельного содержания; она переворачивает содержание нападения, обращает против нападающего произнесенные им слова. Например, если нападающий назвал подвергающегося его нападению дураком, реплика будет отрицанием ума в самом нападающем.

Перебранку начинал всегда следователь. Ее содержание вполне определялось его словами. — Если согласимся, что по тяжкой ему затруднительности передвинуть вопрос через вступительную формальность констатирования личности допрашиваемого или допрашиваемой он заслуживает извинения в том, что начинал браниться, то — каково ж то содержание нападения, которое, возникая из самой сущности его положения, из самой причины его гнева, должно быть признано естественным, потому — с принятой нами точки зрения — извинительным? — Гнев был из-за нежелания подсудимых сказать свои имена; натуральный предмет перебранки состоял лишь в этом. Пока следователь говорил подсудимым что-нибудь относящееся к этому, он оставался просто раздраженным человеком, не переходившим границу того, чему извинением служит раздражение. Но припутывать к предмету перебранки предметы, не имеющие отношения к нему, это будет уж нечто более дурное, нежели простой порыв раздражения.

С какой стати было следователю припутывать бога и царя к содержанию его ругательств? Дело шло о констатировании личности подсудимых, только. Нежелание исполнить эту юридическую формальность не составляет никакого нарушения каких-нибудь религиозных или политических правил. Это — при самом худшем истолковании, какое возможно по законам или по логике, просто «непризнание компетентности» данного судебного учреждения (или, в настоящем случае, данного агента судебного учреждения) вести данное дело. — Непризнание компетентности данного судебного учреждения вести данное дело — случай очень обыкновенный и в уголовных, и в гражданских процессах. Никакой суд не видит в этом ничего обидного себе. Никакой даже из высших трибуналов: ни русский сенат, никакой соответствующий ему трибунал какого бы то ни было другого цивилизованного государства. (Я говорю об этом лишь для аргументации. Подсудимые нимало не воображали сомневаться в компетентности сле-

дователя производить следствие. Они не произносили своих имен просто потому, что не хотели нарушать правила своей веры.)

Но пусть это была нестерпимая обида следователю; пусть это была обида и тому судебному учреждению, которое заведывало его деятельностью, — тому окружному суду или той судебной палате, или прокуратуре того судебного округа. Нет сомнения, ни окружной суд, ни судебная палата, ни прокуратура того округа не согласились бы с мнением следователя, что это обида им или хоть ему самому. Но он, очевидно, думал, что это обида ему или ему и им. И согласимся, для удобства аргументации, что он был прав в этом своем мнении, что его раздражение такой ужасною обидою было похвально и что ему по долгу чести необходимо было ругать подсудимых. Все-таки, за что же ему надобно было ругать их? — За неуважение к нему самому или к нему и к прокуратуре того округа, к окружному суду, к судебной палате; — только. Даже с его собственной точки зрения, обида не могла относиться ни к чему более высокому, нежели судебная палата и прокуратура того округа. Например, даже сенат и министр юстиции никаким образом не подходили под объем обиды, не могли быть предметами ее: не они поручили этому следователю производить это следствие; и они были тут ни при чем.

Но — слабость человеческая, заставляющая подвергшегося ей забывать, имеют ли смысл те слова, какие подвертываются на язык ему в раздражении его души. Следователь припутывал к своей брани из-за мнимой обиды ему все, что подвертывалось ему на его язык. Он кричал на подсудимых, что, отказываясь произнести свои имена, они оскорбляют через то бога и царя; как же нет? Он служит богу и царю; обида ему — это обида богу и царю.

Следователь поступал дурно, профанируя таким образом слова «бог» и «царь». Не спорю; он поступал дурно. Но извинением ему служит то, что он в этих случаях лишь поддавался привычке, очень обыкновенной в полудивилизованных слоях русского общества. Факт был дурен. Но когда ставится вопрос лично о следователе, то надобно сказать: личной вины следователя нет в этом дурном факте. Следователь, очевидно, был человек вульгарных привычек; в этом и все.

Но так как наши полуобразованные классы имеют привычку злоупотреблять словами «бог» и «царь» для придания эффектно-сти выражениям своей личной досады, то у наших простолюдинов лежат в памяти готовые реплики на ругательства, в которых ругающийся отождествляет свое личное раздражение с «службою богу и царю». Если, например, ругающийся скажет: «я служу богу», то всякий присутствующий при ссоре простолюдин вперед знает, какими словами даст ему «сдачу» ругаемый, когда «не стерпит, а захочет дать сдачу»; фраза, которая составляет «сдачу», — простонародное присловье, лежащее в памяти у всякого мужика; она — ответ на ругательство; потому и сама она груба. Она имеет

такую форму: «Ты говоришь, ты служишь богу; врешь ты; не богу ты служишь, а чорту»; это полный вид; в сокращенном виде она такова: «не богу ты служишь, а чорту»; или еще короче: «Твой бог — чорт».

Всякий, кто близко знает нашу простонародную жизнь, десятки раз слышивал перебранки, в которых ответами на ругательства были эти выражения: «Не богу ты служишь, а чорту» и «Твой бог — чорт».

Очень жаль, что наш народ имеет в числе присловий эти выражения. Они свидетельствуют о грубости нравов нашего народа. То, что нравы нашего народа грубы, очень жаль.

Так. Очень жаль. И те грубые выражения очень дурны. Но что такое они? — Грубые ответы на ругательства; только.

Пусть, например, православный священник, рассердившись в каком-нибудь споре из-за денег, начнет ругать того, кто рассердил его; пусть ругаемый будет его прихожанин, мужик православного исповедания, усердно ходящий в церковь и при встрече со священником почтительно целующий его руку. Если священник, увлекшись раздражением, станет приплетать к своим ругательствам свою «службу богу», его усердный прихожанин нимало не затруднится сделать ему реплику: «Твой бог — чорт».

Что это такое? Богохульство? — Предположить богохульный смысл в реплике мужика нетрудно; для этого надобно только забыть, кто и почему произнес эти слова. Буквальный смысл их, бесспорно, богохульный. Как же нет? По их буквальному смыслу выходит, что то существо, которому служит священник православной церкви, — дьявол; короче: существо, почитаемое православною церковью за бога, — дьявол. Спорить невозможно: буквальный смысл слов мужика таков.

Так. Но в таком ли смысле понимал мужик свои слова? Мог ли он понимать их в таком смысле? — Он сам человек православного исповедания; его бог — тот бог, которого чтит православная церковь. Мог ли он называть дьяволом того бога, которого он чтит сам?

Дело явное: понимать его слова в буквальном смысле — нелепость. В каком же смысле надобно понимать их? — Это известно всякому, знающему наш народный язык. Всякому, знающему народный язык, совершенно ясно, что такое хотел сказать мужик. Он хотел сказать: «Батюшка, мы с вами поспорили не из-за веры, а из-за денег; по-моему, в этом споре вы не прав. Но прав ли вы или не прав в этом деле, вы в этом деле не священник, а частный человек. И, по-моему, вы в нем частный человек, поступающий несправедливо. Несправедливые поступки не угодны богу. Они приятны дьяволу. Кто поступает несправедливо, тот делает угодное не богу, а дьяволу».

В этом нет ни малейшей тени богохульства. Это мысли вполне религиозные, совершенно православные.

Форма выражения их была у мужика грубая. Только. Но, произнося свои грубые слова, он оставался человеком религиозным, верным сыном православной церкви.

Я не знаю, какого вероисповедания был следовательно: православного, католического, лютеранского или какого другого. Мои друзья не знают этого. Не знают даже и его фамилии, по которой мог бы я хоть догадываться о его национальности и вероисповедании. Они знают только, что он говорил по-русски, как чистый русский; потому полагают, что он был православный.

Я говорил, каковы были отношения моих друзей к православной церкви. Фома и Катерина Чистоплюевы были повенчаны в православной церкви. Матрена Головачева не только была повенчана в православной церкви, но и имела своим мужем православного. Она жила с ним согласно; ни малейших неудовольствий из-за разницы вероисповеданий между ними не было. Чистоплюевы любили ее мужа, как следует хорошим родственникам. Спрашивается: возможно ли предположить, что она и они имели ненависть к православной церкви? — Они были люди другого вероисповедания, но уважали ее. — «Православная вера — очень хорошая вера», — таково было — и остается — их мнение. Возможно ли допустить, что они, люди очень религиозные, могли иметь богохульные мысли о боге православной церкви? Возможно ли допустить, что они могли считать бога православной церкви дьяволом? — Он — тот же самый бог, которому поклонялись и поклоняются они.

И я говорил: они считали следовательно человеком православного исповедания.

Впрочем, не только о боге, которого чтит православная церковь, они знали, что он — тот самый бог, которого чтут они. Хотя люди безграмотные, потому очень плохо знающие догматику, они все-таки с детства знали, что «у всех христиан один и тот же бог». Так думают и учат своих детей думать все те наши простолюдины, которые имеют «русскую душу», по выражению моих друзей: «У кого русская душа, те все понимают: у всех христиан один бог», — говорят мои друзья. Все их соподсудимые думали об этом точно так же.

Стало быть, хотя бы следовательно был и не православный, а, например, католик или лютеранин, и если бы кто-нибудь между соподсудимыми моих друзей думал о нем, что он католик или лютеранин, все-таки никто из них не мог думать о боге, которому поклоняется следовательно, иначе, как с благоговением: какого бы из христианских вероисповеданий ни был следовательно, его бог был тот самый бог, которому поклонялись все они.

Теперь ясно, в каком смысле надобно понимать те выражения, которыми подсудимые отвечали на ругательства следовательно, ожестивлявшие его досаду с гневом Божиим; подсудимые были далеки от мысли, что эти их выражения могут быть относимы к

истинному богу; они хотели этими выражениями только повернуть религиозные ругательства следователя против него самого; по их мнению, эти выражения значили, что следователь угождает не богу, а дьяволу, ругаясь несправедливо. Это грубость. Но она не имеет в себе ничего такого, что не было бы согласно с христианскою ли верою вообще, с православием ли в частности. Поступая несправедливо, человек служит дьяволу, — всякий ортодоксальный богослов — православного ль вероисповедания, или католического, или лютеранского — назовет эту мысль совершенно верною. Подсудимые выражали ее с мужицкою неуклюжестью языка. Только в этом была их беда, что они не умели выразить ее книжным языком. Они не воображали, что их мужицкое выражение может быть истолковываемо в богохульном смысле.

Всякому, сколько-нибудь помнящему ортодоксальную догматику православной или католической, или лютеранской церкви и знакомому с русскими простонародными присловиями, ясен истинный смысл мужицкого присловья: «Ты служишь не богу, а чорту». — «Чорт» — или, по-книжному, «дьявол» — существо, противоборствующее богу; это существо, о котором много говорит всякий ортодоксальный катехизис; и всякий ортодоксальный человек православного ли, католического ли, лютеранского ли исповедания верует, что это существо действительно существует и что каждый дурной поступок человека совершается по подстрекательству этого существа, в удовольствие этого существа, на службу ему. Выражения подсудимых, в которых упоминалось об этом противнике божием, не заключая в себе ничего, кроме догмата, известного всякому ортодоксальному человеку, сами по себе не нуждались бы ни в каком разъяснении с моей стороны. Необходимость говорить о их действительном смысле возникла для меня лишь из того обстоятельства, что прокурор нашел — как это очевидно по развязке процесса — эти выражения, внесенные в акты предварительного следствия, в качестве выражений богохульных и не имел в тех актах изложения хода перебранок, из которых возникало употребление этих выражений подсудимыми. Знай прокурор об этих перебранках, он, конечно, не затруднился бы понять, что в мыслях у подсудимых не было ровно ничего богохульного, что они лишь отвечали бранью на ругательства следователя, называя следователя человеком, поступающим дурно, как нравится дьяволу.

От катехизиса перейдем к истории Франции и России; от мыслей, известных всем христианам и признаваемых за религиозные истины всеми ортодоксальными людьми всех главных христианских вероисповеданий, перейдем к нашим воспоминаниям о тайне договора, которым кончена была Крымская война; о тайне, которую знаем изо всех образованных людей в России и в целом свете только мы, — я и те лица, которые прочли изложение этой тайны на одной из предыдущих страниц настоящей записки.

Россия принуждена была покориться владычеству Франции; русский царь Александр Николаевич принужден был стать подвластным французскому царю Наполеону. Александр Николаевич снял с себя шубу и отдал ее Наполеону в знак того, что подчиняется необходимости повиноваться ему как высшему владыке над русским царством. Дело несомненно: шуба — это символ верховной власти. Александр Николаевич, по своей любви к своему народу, решил молчать перед русским народом об этом тяжком условии мира с Наполеоном. Если б объявить это, русские поднялись бы вновь воевать с Наполеоном на защиту своего доброго царя. Но французы сильнее нас, победили бы нас, разорили бы всю Россию. И, жалея свой народ, царь Александр Николаевич молчит о своем притеснении от Наполеона. Он терпеливо ждет времени, когда бог откроет ему, что даст ему победу над Наполеоном. Тогда он объявит своему народу о своем угнетении от Наполеона, начнет войну и победит Наполеона. Это будет, в том нельзя сомневаться: царь Александр Николаевич — святой человек, угодник божий; потому бог непременно даст ему силу победить Наполеона. Но это будет, когда богу будет угодно. А теперь пока дело все еще остается совершенно в том положении, какое установлено тайным условием мира, прекратившего Крымскую войну; русский царь Александр Николаевич платит дань Наполеону, и все в России делается, как велит Наполеон; чтобы не было неисправности в платеже дани и не было неповиновения распоряжениям Наполеона, везде в России есть наполеоновские чиновники. Их никто не знает, что они наполеоновские чиновники; они поставлены от Наполеона занимать свои должности по секрету; как же б иначе? — Все это дело — дело тайное. Но они живут везде в России. Живут под разными видами: иные, будто бы люди так себе, не служащие; например, или будто купцы, или будто мужики; а иные занимают должности на службе у царя Александра Николаевича, и все думают о них, что они служат ему; а на самом деле, они занимают должности на его службе только затем, чтобы не позволять служащим ему делать ничего неугодного Наполеону.

Когда это так, то надобно ли мне распространяться о том, кому служил следователь? — Ясно само собой: он был наполеоновский чиновник. И надобно ли объяснять, о ком говорили подсудимые, говоря о царе, которому служит следователь? — Понятно само собою: они говорили об угнетателе русского царя, о французском царе, взявшем у русского царя шубу, символ власти над русским царством, о Наполеоне. Нечего и толковать об этом.

Я говорил, что пока я не ознакомился вполне с понятиями моих друзей, я только расспрашивал и слушал, воздерживаясь от всяких возражений. И очень долго я не делал ни малейшей попытки поколебать их уверенность в том, что русский царь подвластен французскому царю Наполеону и повсюду в России находятся наполео-

новские чиновники, действующие по приказаниям Наполеона. Расспрашивая и слушая об этой тайне во всех ее подробностях, я ограничивался обещанием, что мои собственные сведения о французском царе Наполеоне, об отношениях Франции к России и вообще о французских делах я буду излагать после, когда выслушаю все, что любопытно мне узнать от них (то есть от моих друзей).

Вот результат моих расспросов о подробностях тайны. — Буду приводить подлинными словами те наши разговоры, которые относятся к этому предмету.

Мой вопрос. — «Вы говорите, что в России живут наполеоновские чиновники. Вы уверены, что следовательно по вашему делу служил Наполеону. Но у следователя было начальство. Что ж, и о каком-нибудь из его начальников, — например, о том его начальнике, который поручил ему произвести следствие по вашему делу, — надобно думать, что этот начальник был тоже наполеоновский чиновник?» Мои друзья в изумлении говорят: «Да разве следователь не сам стал производить следствие?» — «Я думаю, нет. Я думаю, ему велел заняться этим делом какой-нибудь начальник». — «Будто?» — «Я не знаю, так ли; не читавши вашего дела, нельзя знать, так ли; но я думаю, что так». — «Почему ж думаешь так?» — «Потому, что обыкновенно так бывает; следовательно — маленький чиновник; и следователей много; кому из них какое дело вести, это обыкновенно определяется от начальства над ними». Мои друзья задумываются. «Вот как оно! А мы думали, он сам был голова всему!» — «Нет, он маленький чиновник; то как же надобно думать о его начальнике, который велел ему производить это дело? Он был, вы говорите, наполеоновский чиновник; и этот его начальник тоже?» Мои друзья недоумевают. Катерина Чистоплюева говорит наконец: «Это, мой друг, наверное рассудить нельзя, ни так, ни сяк. Видишь ли, что: наполеоновские чиновники, хитрые они или нет, как ты думаешь?» — «По-вашему, Катерина Николаевна, они хитрые?» — «Да как же, мой друг? Стало быть, всяко могло быть. Могло быть, что начальник у него был такой же, как он, наполеоновский. А могло быть, что он своею хитростью устроил все: и дело это поднял, и обработал так, чтоб ему поручили это дело. Его начальник, может быть, и понятия не имел об его штуках. А могло быть и вот что: пришла бумага от самого Наполеона». Муж ее и его тетка говорят: «Вот это скорее всего: была бумага от самого Наполеона». — «Теперь, я спрошу у вас еще вот о чем. Начальник над Саратовскою губерниею, вы знаете, губернатор? Кто был губернатором в Саратове?» — «Хороший человек был», — отвечают все трое в один голос. «Я спрашивал пока еще не о том, хороший ли был он человек; это я хотел спросить после. Я спрашивал, как была его фамилия». Мои друзья думали, думали, не могли припомнить: «Должно быть, что мы и не слышали его фамилию. Ты знаешь, говорится все «губернатор» да «губернатор», да и все: по фамилии называть

лишнее; «губернатор», и довольно». — «Ну, да и не нужна теперь мне его фамилия. Я спросил о ней только для того, чтоб узнать, не был ли уж и тогда губернатором в Саратове тот, о котором случается мне читать отзывы с хорошей стороны. А когда вы сами сказали, что он был хороший человек, то этого мне и довольно; фамилию его мне знать уж не надобно». — «А того фамилия как, о котором ты читал с хорошей стороны?» — «Галкин-Врасский». Мои друзья углубляются в свои воспоминания. — «Нет, видно, мы вовсе не слышали фамилию тогдашнего губернатора. Как бы слышали, то нельзя бы нам было не разобрать, та ли была его фамилия, которую ты сказал, Галкин-Врасский, или не та. Нечего; видно теперь: вовсе нам и не случилось слышать его фамилию». — «И не нужна она мне, — я сказал; — когда вам известно, что он был хороший человек, этого мне довольно. И я спрошу вас: как вы думаете, он был наполеоновский или нет?» Все трое в один голос: «Как можно! Как можно! Нет». — «Почему ж вы уверены, что он не был наполеоновский?» — «Да он был хороший человек». — «Что ж, вы полагаете, французу нельзя быть хорошим человеком? По-моему, и между французами бывают хорошие люди». — «Во всяком народе бывают хорошие люди. Потому, чать (должно быть, вероятно), есть и между французами. Только не о том дело. Не то, что французов не бывает хороших людей, а то, что наполеоновские чиновники дурные люди». — «Почему ж вы так думаете?» — «Ты сам разве не знаешь?» — «Нет, я догадываюсь, почему вы так думаете; только хочу видеть, правильна ли моя догадка». — «Ну, так вот тебе, какие наши мысли об этом. Наполеон для русского царя и для русского царства — злодей; каков он царь для своего царства, для французского, мы того не знаем; может быть, у себя дома он и добрый человек, и хороший царь. Но для нас он враг, злодей, потому и антихрист он для нас. И дело его у нас антихристово. Как же не антихристово-то? Как же он нашего-то царя и русское царство притесняет? Так и наполеоновские чиновники у нас не могут быть хорошие люди. Которые чиновники служат Наполеону в его царстве, какие они люди, мы не знаем; может, и хорошие. Но служить Наполеону в нашем царстве хороший человек не может; потому что это антихристово дело. Антихрист для русского царя и для нас всех Наполеон, антихрист. Чать, и по-твоему так?» — «Не огорчитесь тем, что я скажу. Я в антихриста не верю». Катерина Чистоплюева с досадою возразила: «Да не о том речь, веришь ли ты в антихриста, или не веришь. Не веришь, так не веришь. Только злодей для нашего царя и для нас Наполеон? Об этом ты говори, так ли по-твоему. Мы верим в антихриста, то Наполеон для нас и антихрист. Ты не веришь, то все ж Наполеон для тебя злодей. Так?» — «Я его считаю очень дурным человеком, Катерина Николаевна». — «Ну, и довольно того. Стало быть, ты в этом согласен с нами». — «Видите ли, Катерина Николаевна, как я думаю о Наполеоне, я хочу

поговорить с вами после когда-нибудь; это выйдет длинная история. Это будет больше о том, сколько беды потерпели от него сами французы. Только, это я расскажу когда-нибудь после. Теперь мне любопытно знать, как вы думаете о его чиновниках в России. Вот, вы говорили, что саратовский губернатор, который был во время вашего дела, не был наполеоновский чиновник. Это и по-моему так. Хорошо. Теперь, что же вы скажете вот о чем: знал саратовский губернатор о вашем деле или нет?» — «Знал». — «Почему вам известно, что он знал?» — «Ну, вот! Да он видел нас, когда мы были в саратовском остроге». — «Правда, я уж слышал от вас об этом. Я только хотел, чтобы снова сказали мне как это было, потому что так надобно для нынешнего нашего разговора. Вы говорили, он вступался за вас, — так вы говорили?» — «Так». — «Хорошо. Знал о вашем деле и даже вступался за вас. Почему ж не вышло пользы из этого? Губернатор не то, что следователь. Губернаторская должность — важная». — «Друг ты мой, видно по всему: от Наполеона было это дело; что ж тут мог сделать губернатор?» — «Конечно, если рассуждать так, то оно выходит понятно. Вы говорили следователю, что он служит антихристу; Наполеон, если до Наполеона дошло это от следователя, конечно, не мог простить вам этого. Но это было уж на допросах. А вы говорите, что и самое-то начало дела было от Наполеона, — прямо ли от него самого, или от следователя, или от какого другого наполеоновского чиновника. Тогда какая ж могла быть причина Наполеону или его чиновникам желать вреда вам? До начала дела вы никому не говорили, что Наполеон антихрист». — «Говорить этого мы не говорили. Но мы знали то, за что следует называть его так». — «Правда, вы уж и тогда, до начала вашего дела, полагали, что знаете наверное: русский царь и русское царство находятся в угнетении от Наполеона». — «Ну, как-нибудь кто-нибудь из наполеоновских и доведаясь, что мы знаем это. Вот и стало надобно им сжить нас со свету». — «Если судить так, то положим: могли они захотеть сжить со свету людей, которые знают это. И если судить так, то, положим, понятно, что были вы арестованы, попали под суд. Но вам бы следовало сказать на суде, в чем дело. Следователь, положим, был наполеоновский. Говорить ему — пользы для вас не было бы. Но присяжные и судьи не были ж наполеоновские. Сказали бы вы им, — они и поняли бы». — «Друг ты мой, разве ж мы не хотели, чтобы сказано было на суде, в чем наше дело, в чем наше оправдание? Да не вышло по-нашему. Ну, когда не вызвал суд заступника нам, то и увидели мы: стало быть, следует нам на суде молчать о наполеоновском угнетении русскому царю и русскому царству». — «Почему же следовало вам молчать об этом?» — «Как почему? — сказала Катерина Чистоплюева. — Разглашать то, о чем наш царь хочет, чтоб это оставалось в тайне? Кто имеет от него доверие, мог знать, пора ли было говорить об этом. Не нам самим было судить об этом. Видно, было еще не

пора. И промолчали мы. Лучше ж было пропадать нам, чем разглашать тайну, о которой наш царь Александр Николаевич рассудил, что еще не пора ей быть открытой». — «Так-то, друг, так», — подтвердили муж и тетка мужа.

Через несколько недель после разговоров, содержание которых изложено в предыдущей выписке из моих заметок, я нашел своевременным перестать стесняться в наших беседах прежним опасением оскорбить моих друзей опровержением их ошибочных мыслей. Само собою разумеется, я желал исправить их понятия собственно лишь по тем предметам, ошибочные мнения о которых были вредны для них. О чем люди в их положении могут без вреда для себя думать, как случилось им привыкнуть думать, о том я нимало не желал спорить с ними. Таковы, например, убеждения, относящиеся к чисто религиозным вопросам. Ни об одном религиозном вопросе религиозные люди не думают, разумеется, так, как считаю сообразным с истиною думать я, атеист. Но, конечно, было бы нелепою фантазиею с моей стороны тревожить умы моих бедных друзей возбуждением в них мыслей, значение которых не может быть правильно понимаемо безграмотными невеждами, каковы они. — То же самое, что о религиозных предметах, и обо всем другом, о чем лично я имею убеждения, не одинаковые с убеждениями просвещенных людей какого-нибудь иного, не совпадающего с моим образа мыслей. Было бы нелепостью толковать с безграмотными невеждами о таких вещах, относительно которых существуют несогласия между людьми просвещенными. Но и из тех вещей, о которых совершенно все сколько-нибудь образованные люди думают совершенно одинаково, я брал предметами объяснений только такие, ошибочные мысли о которых были губительны для моих друзей; да и для всех вообще людей в таком положении, как мои бедные друзья, вредны.

Важнейшею причиною бедствия, в которое ввергли себя мои темные, несчастные друзья и их соподсудимые, были их ошибочные мысли об условиях Парижского мира, о подвластности русского царя и русского царства Наполеону. Когда мне показалось, что уж могу я, не оскорбляя моих друзей, приняться за исправление их понятий об этих вещах, я рассудил, что на первый раз надобно сообщить им сведения о последних событиях жизни Наполеона III и о его смерти. Получив эти сведения, мои друзья будут более способны рассудить, правильно ли буду я рассказывать им о действительных условиях Парижского мира, — соображал я. — Итак, не касаясь вопроса, была ли по Парижскому миру Россия принуждена признать себя государством, подвластным Франции, я начал с того, что спросил моих друзей, слышали ль они, что несколько лет тому назад была война у французов с немцами; вероятно, слышали; но, быть может, мало; то не хотят ли услышать поподробнее: это война любопытная; слышали они о ней? И хотят послушать побольше?

Мои друзья отвечали: хорошо, пусть я рассказываю, когда это любопытно; они послушают, что это такое была за война у французов с немцами; они об этой войне не слышали.

Я полагал, что они слышали о ней слишком мало и бестолково, так что не поняли ее развязку. Но — они вовсе и не слыхивали о ней.

Я стал рассказывать о войне 1870—1871 годов; разумеется, коротко, чтобы не утомить моих слушателей; разумеется, не касаясь ничего, кроме собственно военной стороны дела, которая одна сколько-нибудь понятна людям такого невежества, как мои бедные друзья. Рассказ мой был в таком роде:

«Немцы соседи с французами. Лет девять тому назад Наполеону захотелось отнять у немцев часть немецкой земли — ту часть, которая самая соседняя с французским царством, и пошел он для этого войною на немцев. Он думал, что немцы трусят, потому что французское войско считалось очень хорошим и было очень большое. Но немцы не трусились» — и т. д., и т. д.

Дошел мой рассказ до Седана. Я рассказал о Седане в таких словах: «Вот, как дошли французы до этой своей крепости, немцы тут догнали их, окружили, сбили, загнали в эту крепость; а она старая, дрянная; а подле нее горы; немцы поставили на эти горы пушки и немножко постреляли с гор в крепость, чтобы показать французам, что с этих гор легко перебить всех, кто там внизу, в крепости; в два, три часа всех можно перебить, как стадо баранов. Французы увидели: правда. Ну, и пришлось Наполеону со своим войском отдаваться в плен немцам. Ну, и отдался в плен».

До сих пор мои друзья слушали молча; тут не выдержали. Все трое в один голос заговорили:

— Стой! Да что ж это, в самом деле? Да ты шутишь!

Я стал просить их верить мне, что я не шучу, не смеюсь, говорю серьезно. Уверились они наконец, я не шучу. Тогда начались расспросы такого содержания: «Ну, видим: ты не шутишь; но откуда ты это знаешь? Ты сам видел все это?» — «Нет, я тогда там не был. Я не видел этого, я только читал об этом». — «В газетах читал?» — «А что?» — «Ну, да то, что в газетах много врут». — «В газетах бывает много пустяков; но в таких крупных делах ошибаться газетам нельзя. Впрочем, до газет нам нет дела. Я тогдашних газет не читал. Я знаю это по книгам, а не по газетам». — «По каким книгам? По немецким или по французским?» — «А что?» — «Да если по немецким, то немцы, может, наврали все это для похвальбы». — «Читал я и французские книги: и в них то же самое». Мои друзья призадумались. Но нашли-таки резон, что дело однакоже сомнительно: «Слушай ты вот что: может, немцы с французами согласились писать так для обмана русских. Может, они вместе хотят что-нибудь сделать над русскими, то вот и отводят русским глаза, что вы, дескать, ничего не опасайтесь от нас, потому что мы между

собою подрались и будем все драться». — «Не могли они обманывать в этом русских; много русских было тогда в тех самых местах; сами, своими глазами многие русские видели это». Долго тянулись у нас рассуждения о том, не обманываюсь ли я, принимая за правду, что Наполеон попался в плен немцам.

Когда мои друзья стали склоняться к мысли, что рассказанное мною достоверно, что я не введен в обман выдумками хитрых врагов России, желающих отводить глаза русским сказками, я попросил моих друзей, чтоб они после, на досуге, побольше подумали о том, возможно ли какое-нибудь сомнение в достоверности читанного мною и теперь вот сообщенного мною им; и, попросив их обдумать все как можно основательнее, закончил мой рассказ несколькими словами, — именно такими:

«Ну, вот, поддержали немцы Наполеона в плену у себя, потом выпустили; он поехал жить в Англию, потому что воротиться во Францию ему было уж нельзя: французы, потерпевши через него такую беду, что немцы побили их, были очень озлоблены на него. И его жене и сыну, — у него с женою только и детей, что один сын, — тоже никак нельзя было оставаться во Франции, по ожесточению французов против них за него; и они тоже уехали в Англию. Ну, и жил он с ними у англичан; бедности не терпел, потому что были у него свои собственные деньги. Но только и всего, что имел достаточный кусок хлеба. Пожил так несколько времени и умер лет шесть тому назад».

Принялись мои друзья рассуждать со мною, достоверно ли я знаю, что Наполеон умер. Долго рассуждали. Стали склоняться к мысли, что я не ошибаюсь, считая правдою известие о его смерти.

Довольно для того, чтобы судить, как шли мои попытки растолковать моим бедным друзьям, что они ошибались, воображая, будто бы Россия попала по Парижскому миру под власть Наполеона и до сих пор остается подвластна ему.

Бедные люди, бедные темные люди, — что было в их головах сколько-нибудь похожего на какие бы то ни было политические идеи?

Во время немецко-французской войны они жили в Царицыне и Камышине. Под арестом, правда. Но у них бывали посетители. Они были в дружбе со своими сторожами. Кажется, как бы не слышать им хоть чего-нибудь об этой войне? — Но вот, не слышали ж, однако, ничего о ней. — В какой же степени, когда так, были они заинтересованы политическими мыслями? — Столько же, сколько китайскую литературу. Иначе невозможно было б им оставаться ничего не слышавшими о войне 1870—1871 годов.

Возвращаясь к изложению результатов, полученных следователем.

Я говорил, что несколько раз подсудимые отвечали на ругательства следователя репликами, действительный смысл которых — укор следователю, наполеоновскому чиновнику, но буквальный

смысл которых неоспоримо представляется преступным всякому, кто не знает, что следователь был слугою Наполеона. Я говорил также, что не все допросы кончались ругательными монологами следователя или диалогами перебранки его с подсудимыми; если у следователя являлась охота передвинуть допрос через формальность констатирования личности, он заменял вопрос: «как тебя зовут?» вопросом: «тебя зовут, — затем следовало имя допрашиваемого, — так ли?» — Против этой формы вопроса подсудимые не имели религиозного предубеждения, отвечали: «так», — и допрос после того шел совершенно сообразно желанию следователя. О чем бы ни спрашивал он подсудимых, они признавали справедливым все то, что предлагал он им признать справедливым. Он полагал, что они безбожники и республиканцы; потому говорил им: «У вас нет бога?» Они отвечали «Нет». — «У вас нет царя?» Они отвечали: «Нет». Он спрашивал, — как я уже упоминал, — у Фомы Чистоплюева, б.... ли Катерина Чистоплюева; и Фома Чистоплюев отвечал: «Б....». — «Ты хотел прогнать ее за б.....?» Фома Чистоплюев отвечал: «Хотел». Точно так же он спрашивал у Катерины Чистоплюевой: «Фома Чистоплюев не муж тебе?» Она отвечала: «Не муж». — «Ты не хотела жить с ним?» Она отвечала: «Не хотела». — «Ты хотела отвязаться от него?» Она отвечала: «Хотела». — «Ты хотела убить его, чтоб отвязаться от него?» Она отвечала: «Хотела». Фома и Катерина Чистоплюевы были в это время люди уж не молодых лет. Но, по крайней мере, не были такие старые люди, чтоб желающему вести с ними беседы игривого содержания не было возможности не чувствовать самому, что это его желание совершенно глупо. Но Матрена Головачева, женщина, не бывшая, вероятно, и в молодости красивою, была в то время уж вовсе старуха. Нет нужды, следователь не оставил без разъяснения ее эротические отношения — он спрашивал ее: «Ты хотела бросить мужа?» Она отвечала: «Хотела». — «Почему хотела? Потому что он стар?» — «Да». — «Жить со стариком нет приятности?» — «Нет». — «Ты хотела жить с молодыми мужчинами?» — «Да». — «Ты затем и в эту свою веру перешла, чтобы жить с молодыми мужчинами?» — «Да», — неукоснительно подтвердила старуха.

«Зачем же вы говорили на себя такую неправду?» — спрашивал я моих друзей. «Да мы видели, что противиться следователю было бы только делать напрасное мучение себе. Что ж, разве сладишь с ним? Ну, так и пусть будет, как ему угодно; по крайней мере, когда говоришь все так, как он требует, он не сердится и скоро отпустит с допроса», — отвечали бедные мои друзья.

Стали после призывать их «на явку», как они выражаются об этом, к «разным другим гражданским начальникам», которые были «хорошие люди, ласковые»; это были — сколько могу я понять — какие-нибудь чиновники прокуратуры; быть может, кто-нибудь из помощников прокурора окружного суда или прокурора

судебной палаты; призывали подсудимых «на явку» и к «военным начальникам», которые были «еще лучше гражданских», именно, к офицерам корпуса жандармов; эти офицеры «все были люди очень хорошие; такие добрые, что говорить с ними было даже приятно, а не то чтобы страшно: ничуть не страшно; потому что от жандармского офицера никогда не получишь никакой обиды; всегда он старается, напротив того, сделать какое только может снисхождение и облегчение», — отзываются об офицерах жандармского корпуса мои друзья.

Но — подсудимые, хоть и видели, что офицеры жандармского корпуса желают быть полезными для них, не умели, по своему темному невежеству, воспользоваться своими «явками» к ним. «Жандармские офицеры желали сделать в вашу пользу что могут; вот вам и следовало бы объяснить им, что вы говорили на допросах у следователя пустую небывальщину на себя», — замечал я моим бедным друзьям. «Друг ты мой, мы думали, что из этого будет нам только новая беда, хуже прежней. Сам ты рассуди: у кого оставались бы мы под властью? — Все у того же следователя. Офицер-то поговорит с нами да уйдет; а следователь-то на другой день опять позовет нас на допрос и разочтется с нами за то, что поперек ему говорили с жандармским-то офицером». — Я напрасно старался убедить их, что это их опасение ошибочное. Они были так запуганы всемогуществом следователя, что, несмотря на все мои уверения: «у жандармских офицеров была бы сила защитить вас от него», они остались при своем образе понятий; следователь был всемогущ; всякая попытка искать у кого-нибудь помощи против него только отягчила бы их положение.

Итак, и те «разные добрые гражданские чиновники», которые, я полагаю, были бы не прочь потрудиться для спасения подсудимых, и офицеры корпуса жандармов, которые, несомненно, были бы действительно рады спасти их, были оставляемы их нелепым невежественным молчанием в невозможности узнать, что их преступления — пустые фикции. Результаты, добытые допросами следователя, оставались формальным образом результатами достоверными: сами подсудимые не оспаривали их достоверности.

И однакоже, произошел каким-то способом какой-то факт, имеющий в себе как будто нечто похожее на какое-то решение какой-то — административной ли? или судебной? — власти прекратить ли процесс, дать ли ему, вместо уголовного характера, характер исправительный. Что такое был этот факт, я не могу хорошенько разобрать; он отразился в темных головах моих бедных друзей такими смутными впечатлениями, что, сколько ни раздумывал я над их рассказами о нем, я не доискался возможности понять, в чем же действительно состоял этот факт.

Рассказывают они о нем так:

«Без малогого через год» после того, как были арестованы Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые, осенью 1869 года, —

вероятно, в октябре или ноябре, — позвали их из острога (царицынского, где они содержались) в полицейское управление. Там прочли им какую-то бумагу, смысла которой не могли они хорошенько понять, но в которой, как им казалось, говорилось, что некоторые из них — в том числе Матрена Головачева — должны быть отданы, как православные, на увещание православному священнику, а другие — в том числе Дарья Чистоплюева (еще бывшая тогда в живых), Фома и Катерина Чистоплюевы — не подлежат этому увещанию, потому что православными не были, стало быть, и в отпадении от православия не виноваты. Прочитав им эту бумагу, чиновники сказали им: «Ступайте на все четыре стороны», и тотчас же ушли из комнаты присутствия полицейского управления, оставив их в этой комнате одних. Оставшись одни, они стали спрашивать друг у друга, что такое объявила им прочтенная им бумага. Потолковавши, рассудили, что бумага, должно быть, объявила им, что они освобождаются от ареста и следствия, что они теперь стали опять люди свободные и могут идти домой; должно быть, так: потому что иначе что ж значили бы сказанные им по прочтении бумаги совершенно понятные им слова: «Ступайте на все четыре стороны»? — Так, должно быть. Но надобно, прежде чем сделать попытку идти, как уходят свободные люди, спросить у чиновников, действительно ли так. И если действительно они освобождены, то надобно будет им получить от чиновников позволение, прежде чем отправляться в Дубовку и Песковатку, сходить в острог, взять там свою теплую одежду и другие свои вещи; время уж холодное; до Дубовки или Песковатки расстояние от Царицына не маленькое; без теплой одежды идти нельзя. Итак, во всяком случае надобно подождать возвращения чиновников, спросить у них о смысле бумаги, и если бумага действительно имеет смысл освобождения от ареста, то спросить у чиновников позволения сходить за вещами в острог. Решив так, подсудимые стали дожидаться возвращения чиновников в комнату присутствия; ждали; устали стоять и сели на пол: где стояли, слушая бумагу, тут и сели на пол. Сидели и ждали возвращения чиновников. Вдруг вбежали в комнату присутствия полицейские служители, схватили сидящих, подняли на ноги и потащили вон; вытащили на двор полицейского дома и посадили на землю тут на дворе. — По правилу своей веры терпеть все молча, подсудимые уселись молча. И сидели в ожидании, когда позовут их опять в комнату присутствия или подойдет к ним какой-нибудь чиновник. Так и просидели весь день. Пришла ночь. Провели они и ночь тут. И следующий день, и следующую ночь. Пришел третий день; они все сидели на дворе, где были посажены на землю. Пришла третья ночь; до сих пор большого мороза не было и погода была хорошая; но в этот третий день к вечеру стал подыматься ветер; усиливался; и к началу ночи усилился до вьюги; вьюга стала страшно сильная. Тогда пришел к сидящей группе помощник

исправника и отвел их в полицейские комнаты. Тут их заперли, и тем кончился эпизод — который в чем же именно имел свою сущность? — не понимаю; вижу только, что это был эпизод успешного соревнования чиновников царцынской полиции с безграмотными подсудимыми в бестолковости.

Подсудимые не понимали, в чем было тут дело; это ясно; не понимая, они, конечно, и в то время не сумели бы рассказать с толком. Тем меньше могли припомнить с толком этот удивительный эпизод мои темные друзья теперь, через девять с половиною лет.

Но каким же образом возможно было полицейским чиновникам уйти из комнаты присутствия, оставив там посторонних людей, — да притом людей, бывших подсудимыми? — Патриархальность, достойная золотого века, о котором так хорошо писали поэты древней Эллады. Дубовка была уголок Аркадии; но и Царицын, как теперь видно, был тоже уголок Аркадии.

Ограничиваюсь в своем разборе удивительного поведения полицейских чиновников этою первою чертою их истинно очаровательного исполнения их служебных обязанностей: надоело им сидеть в комнате присутствия, вздумалось идти — домой, что ли, приласкать деточек, к приятелям, что ли, позавтракать, — встали и пошли себе, нимало ни стесняясь заботою, что в комнате присутствия остаются посторонние люди.

Довольно этой черты. Когда должностные подвиги начинаются таким наивным походом из комнаты присутствия, то уж не могут подлежать никакой юридической оценке никакие дальнейшие должностные приключения таких чиновников; это не чиновники; это Дафнисы и Филемоны, о которых писал свои прекрасные Буколики Виргилий¹³.

Я сказал: «Я не понимаю этого эпизода». Я не хочу становиться на ту точку зрения, с которой легко было бы понять его. Эта точка зрения такова, что я не люблю становиться на нее. Я предпочитаю в подобных случаях думать: «это происходило лишь от незнания должностными людьми их должностных обязанностей». И прибавляю: «Дело бестолково до такой степени, что я не понимаю его». И пусть будет так.

Когда подсудимые увидели себя находящимися опять взаперти, они без затруднения объяснили себе, в чем состояло дело: их призывали в полицейское управление и читали им ту бумагу только «в виде насмешки, чтобы надругаться над ними»; их посадили в такое позднее осеннее время во дворе и держали их тут, не выдавая им оставшейся в остроге теплой одежды их, три дня и две ночи для того, чтоб они, измученные холодом, «отреклись от своей веры». Само собою разумеется, это пустые мысли, порожденные лишь их темным невежеством.

Через несколько времени полицейские чиновники стали приходить к ним в арестантскую полицейского управления и, разговаривая с ними по-приятельски, признавались, что «поступили

с ними нехорошо». — «Нехорошо было, что мы сказали вам: ступайте на все четыре стороны; так не годится говорить; надобно было растолковать вам хорошенько, что вы были избавлены от суда и что мы в самом деле выпускаем вас на волю. Нехорошо мы сказали вам. Ну, теперь этого поправить уж нельзя. Поздно». — Неужели ж подсудимые правильно понимали слова чиновников? Неужели чиновники говорили действительно так? — Еще через несколько времени подсудимые, уж переведенные в острог, слышали от сторожей, что в полицейском управлении говорят, будто бы они, когда оставались одни в комнате присутствия, разломали там зеркало¹⁴ и что теперь судить их будут уж собственно за то, что они разломали зеркало. — Я убежден, что это был слух, оставшийся неизвестным самим чиновникам полицейского управления, или, если доходивший до них, то отвергаемый ими как пустая городская сплетня. Подсудимые в комнате присутствия сначала неподвижно стояли, потом неподвижно сидели на полу; они не дотрогивались не только до зеркала, но и до стола, на котором стояло зеркало; не только до этого стола, но и ни до чего в комнате. Я считаю тогдашних чиновников царицынского полицейского управления людьми, очень плохо знавшими и, по привычке к небрежности, еще хуже того исполнявшими свои должностные обязанности. Но быть чиновником, очень плохо знающим и еще хуже того исполняющим свои служебные обязанности, еще вовсе не значит быть человеком, способным составлять фальшивые протоколы для взведения на людей небывалых преступлений. Я убежден, эти плохие чиновники были, в сущности, люди вовсе не такие дурные, чтобы губить кого-нибудь составлением фальшивых протоколов. Слух, будто они говорили о разбитии зеркала подсудимыми, без сомнения, клевета городской молвы на чиновников, конечно, имевших в Царицыне недругов-скалозубов, выдумавших, будто они составили или хотели составить фальшивый протокол о небывальщине. Зеркало, как было, так и осталось цело. Царицын хохотал злой шутке сплетников, будто составлен протокол о разбитии зеркала, которое осталось, как знал Царицын, в совершенно неприкосновенной целости.

Прошло еще несколько времени, и чиновники, навещавшие подсудимых, стали говорить им: «Вы почему не шли на свободу, когда вас отпускали? Вы не шли потому, что не хотели итти, — так?» Подсудимые, по своему умному правилу, отвечали: «Да». — «Почему ж вы не хотели итти на свободу? Потому что желали оставаться в остроге?» Подсудимые отвечали: «Да». — «Вы хотели быть мучениками?» — «Да». — «Вы желаете, чтобы вас сослали в Сибирь?» — «Да». — «Вы даже не на поселение желаете, потому что это не велико мученичество, а в каторгу?» — и на это, как на все, подсудимые отвечали: «Да».

«Зачем вы говорили такой вздор?» — спрашивал я моих друзей. «Друг ты наш, да что ж пользы-то было бы спорить?» —

отвечали они. Я однажды, в горькой досаде на бессмыслие, с каким они губили себя такими дурацкими ответами, сказал: «Ну, а если бы теперь кто спросил вас, потому ли не ушли вы домой, что желали остаться в остроге и идти в Сибирь, как отвечали бы вы?» — «Друг ты мой, да никто не спросит». — «Да я говорю лишь к примеру. Ну, если бы кто спросил?» — «Ну, сказали бы по-тогдашнему». — «Как, и теперь сказали бы, что не хотели тогда идти на свободу, хотели идти в Сибирь?» — «И теперь так сказали бы». — «Да зачем же?» — «А тогда было говорено так, да как же отпереться-то? Чтoб еще начали судить нас за то, что отрекаемся от своих слов? Довольно с нас бед; не накликай же нам на себя новых. Пусть, что написали они о нас, все так и остается, будто в самом деле правда».

Итак, в чем бы ни состояло действительное содержание той бумаги, которой не умели понять подсудимые, когда она была читана им в царицынском полицейском управлении и о которой теперь мои друзья полагают, будто б она освобождала их от суда, подсудимые остались под стражею, дело о них продолжалось; через несколько месяцев после того они были, как я уж говорил выше, отправлены из Царицына в Камышин; после были перемещены из Камышина в Саратов; из Саратова были, наконец, весной 1874 года, отправлены в Царицын для того, чтобы быть подвергнутыми суду присяжных; и все те из них, которые дожили до суда, были приговорены к ссылке на поселение в Сибирь.

Из числа девяти подсудимых, в продолжение процесса трое умерли; именно:

Дарья Чистоплюева (мать Фомы Чистоплюева);

Марфа Чугунова (жена Антона Чугунова, дяди Катерины Чистоплюевой) и Григорий Воронин (муж Дарьи Ворониной).

У Антона и Марфы Чугуновых было трое детей, две девочки и мальчик. Отцу и матери было позволено иметь детей при себе. Старшее из трех детей, девочка Анна, умерла в Камышине; ей было тогда 13 лет. Двое младшие дети — второе дитя, дочь Дарья, и младшее дитя, мальчик Иван, остававшиеся при родителях, были взяты от них, когда они жили в саратовском остроге. Куда были отведены эти девочка и мальчик и что было с ними дальше, мои друзья не знают.

Доскажу о судьбе тех подсудимых, которые дожили до конца процесса.

Их было, как я говорил, шесть человек, именно:

Фома и Катерина Чистоплюевы;

Антон Чугунов;

Матрена Головачева;

Дарья Воронина;

Анна Филатова,

Суд над ними был в начале марта 1874 года. По произнесении приговора, шестеро осужденные были в мае месяце переведены из Царицына в Саратов для препровождения в Сибирь. Из Саратова они были отправлены в Сибирь «за день перед Петровым днем» 1874 года. В Иркутск прибыли они зимою 1874—1875 года. Из Иркутска были отправлены в Якутскую область и прибыли в окружный город Якутской области Вилюйск «немножко после Петрова дня» 1875 года. До этой поры все шестеро они были препровождаемы по пути и во время стоянок оставляемы неразлучно вместе. Это было отрадою для них, потому что все они — кроме Филатовой — были близкие родные между собою и Филатова была в молодости такая близкая знакомая всем тем пятерым, будто родная. Они думали, что и на поселении оставят их всех жить вместе. Но в Вилюйске разделили их для водворения на жительство на две группы, в каждой по три человека. Разлука чрезвычайно огорчала их. Но чиновники вилюйского окружного управления утешили их, сказавши, что от них самих будет зависеть соединиться вновь: на две группы разделяют их лишь для того, чтобы не возроптали на обременение содержанием шести человек якуты того «улуса» (той волости), куда отправили 6 их всех вместе; окружное управление распределяет тяжесть содержания их между двумя улусами; пусть они просят старшин этих улусов присылать содержание им в одно какое-нибудь место того или другого улуса; старшины согласятся, и тогда могут они все шестеро жить вместе.

Дарья Воронина, Анна Филатова, Антон Чугунов были отправлены, одною группою, в один улус; Фома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева, другою группою, в другой улус.

В обоих улусах улусные начальники сделали относительно содержания присланных к ним поселенцев такое распоряжение: хозяева юрт (избушек, домохозяйств) должны кормить поселенцев своего улуса поочередно, по одному дню каждый хозяин. Ни Катерина Чистоплюева с мужем и его теткою, ни другая партия, состоявшая из Ворониной, Филатовой и Чугунова, не знали, что могут требовать менее неудобного способа снабжения их продовольствием. И стали каждый день переходить для получения еды и ночлега из одной юрты в другую, по очереди, назначенной улусными начальниками.

В Вилюйском округе нет нигде ничего подобного хоть бы самой крошечной деревушке: якуты живут отдельными, совершенно одинокими юртами, одна юрта от другой в двух, трех — чаще в пяти, в десяти, в пятнадцати верстах. Поселенцам — людям пожилым или и вовсе дряхлым — пришлось, таким образом, каждый день странствовать по несколько — чаще всего помногу — верст; проснуться, закусят и отправляются в путь; а пути в Вилюйском округе — тропинки в лесах между болот. Можно вообразить себе, как мучительна была эта странническая жизнь для людей

пожилых или вовсе старых и отчасти больных. Надобно только припомнить, сколько месяцев длится в Вилюйском округе зима и каковы морозы этой зимы.

Якуты беспрестанно разъезжают из улуса в улус. Чистоплюевы и Головачева, когда научились понимать кое-какие обыкновеннейшие слова якутского языка, слыхивали по временам от встречающихся с ними проезжих якутов о Чугунове и двух его спутниках: и Чугунов, и обе женщины были здоровы. Чистоплюевы и Головачева не теряли надежды раньше или позже получить согласие улусных начальников на то, чтобы позволено было Чугунову и тем двум женщинам странствовать вместе с ними, пока якуты обоих улусов построят или купят, — как обещали приказать улусные начальники, — особую юрту, в которой стали бы жить все шестеро вместе.

Это и было бы, вероятно, так. Но раньше, нежели Чистоплюевы успели выпросить у улусных начальников позволение присоединить к себе ту, другую, партию, с этою другою партией случилась беда.

Бывший вилюйский исправник г. Протопопов (о котором говорил я в предисловии к этой записке) рассказывал мне о беде, постигшей ту, другую, партию, следующим образом:

Однажды в ту юрту, куда пришли Чугунов, Воронина и Филатова, заехал священник той местности; священник этот был пьян; пьяный, он человек буйный. Он привязался к Чугунову и женщинам, неотступно ругая их за то, что они раскольники. Они молчали на его ругательства; это еще больше подзадоривало пьяного, и, наконец, он принялся бить Чугунова и обеих женщин. Они принуждены были схватить его за руки. Само собою разумеется, он из-за этого пожаловался на них и, конечно, представил дело в таком виде, будто Чугунов, Воронина и Филатова «избили» его. Чугунов и обе женщины были арестованы, отправлены в Якутск. Якутский губернатор Черняев держал себя в этом деле благородно; старался сколько мог смягчить участь Чугунова, Ворониной и Филатовой. (Это слышали о нем и Чистоплюевы, и Головачева, и все трое много раз говорили мне, что чувствуют живую благодарность к г. Черняеву за его покровительство Чугунову, Ворониной и Филатовой.) Но характер обвинения был таков, что не во власти губернатора давать делам подобного рода направление, какое считает он справедливым. Чугунов, Воронина и Филатова были, согласно жалобе священника, обвинены в оскорблении его и отправлены — по словам г. Протопопова — в Иркутск, в арестантские роты. (Так слышали и Чистоплюевы, и Головачева.)

Несколько времени тому назад я просил живущего в Вилюйске должностного человека, служащего в иркутской жандармской команде, чтоб он переслал своему начальнику мою записку, в которой я говорил, что желал бы, — если будет найдено возможным

исполнить это, — чтобы Чугунову, Ворониной и Филатовой были переданы сведения о здоровье Чистоплюевых и Головачевой, поклоны от них и несколько рублей. Если было найдено возможным исполнить это, все это, без сомнения, исполнено.

Тяжкий период ежедневных странствований Фомы и Катерины Чистоплюевых и Матрены Головачевой из юрты в юрту, по несколько верст, иногда и по пятнадцати и больше верст от юрты до юрты, длился месяцев десять. После, в половине мая 1876 года, была, наконец, отведена для житья им юрта. Тогда они стали пользоваться спокойствием. Таким образом прожили они около двух лет. После того жили у вилюйского исправника, г. Протопопова, как я подробно рассказывал об этом в предисловии к настоящей записке. По отъезде г. Протопопова в Иркутск, жили с месяц у вилюйского медика г. Доброзракова; после переселились жить в баню исправнического дома, оттуда — в одну из юрт, находящихся в Вилюйске; обо всем этом я подробно рассказывал в предисловии к настоящей записке. После того как она была отдана мною для отправления через Иркутск в Петербург, в судьбе Чистоплюевых и Головачевой произошли следующие перемены:

Заведывавший одним из двух водочных складов, находящихся в городе Вилюйске, мещанин Дашевский, бывший в знакомстве с г. Протопоповым, имел желание взять, при его отъезде, Катерину Чистоплюеву к себе для заведывания хозяйством и приготовления кушанья. Но, услышав, что того же желают для себя г. и г-жа Доброзраковы, с которыми он был дружен, промолчал о своем желании: он человек холостой, они — обременены детьми; ему легче, нежели им, обходиться без хорошей прислуги, — рассудил он, как следует доброму человеку. — Я говорил в предисловии к этой записке, что когда г-жа Доброзракова, выражая мне свои неудовольствия на Катерину Чистоплюеву, довела ее до необходимости отказаться от продолжения службы в доме, где так недовольны ею, то при этой сцене присутствовал, кроме меня, еще один гость. Это был именно Дашевский. Когда я уходил, он вышел вместе со мною и на мою просьбу, чтоб он рекомендовал кому-нибудь в кухарки Чистоплюеву, отвечал мне, что сам он желал — чего я до той поры не знал — иметь ее кухаркою и экономкою, что он молчал об этом из расположения к Доброзраковым, а теперь пригласит ее в услужение к нему, если, подождав несколько времени, увидит, что Доброзраковы не обратятся к ней с приглашением жить снова у них. Через несколько дней после того как было отправлено мною предисловие к этой записке, г-жа Доброзракова стала просить Чистоплюевых и Головачеву возвратиться в услужение к ней. Катерина Чистоплюева не согласилась; «Лучше мы опять уедем в улус, если не найдется нам другого места в городе». Когда оказалось, что это совершенно решительный отказ, Дашевский рассудил, что теперь он свободен пригласить Катерину Чистоплюеву в услужение к нему. Она согласилась,

разумеется. И, само собою разумеется, он был чрезвычайно рад, что имеет честную экономку и такую хорошую кухарку. Но через месяц после того как она перешла к нему, вилюйское полицейское управление объявило Фоме Чистоплюеву и Матрене Головачевой, что они должны переселиться из города обратно «в улус»; а относительно Катерины Чистоплюевой Дашевскому было сказано, что из уважения к нему позволяется ей оставаться в городе; но, конечно, говорившие это знали вперед, что она не может отпустить в улус больного мужа и старуху его тетку одних без призора, не расстанется с ними, отправится с ними «в улус». Так она и сказала. Дашевский был очень огорчен. Но полицейское управление приказало Фоме Чистоплюеву и Матрене Головачевой отправляться из города, и Катерина Чистоплюева уехала вместе с ними. — Это было, если я не ошибаюсь, в конце июня.

С той поры я не имел еще никаких сведений о моих бедных друзьях. Понятно, я ни у кого из здешних жителей не расспрашивал о них, чтобы моя заинтересованность их судьбою не навлекла на них новых неприятностей со стороны вилюйского полицейского управления, чиновникам которого не сообщал я ничего о мотиве, по которому имел частые и продолжительные свидания с моими бедными, безграмотными друзьями.

Я изложил основания, по которым считаю несомненным, что мои друзья и их соподсудимые, хоть и стали в продолжение своего процесса бесспорно, с формальной стороны, виновными в богохульстве и произнесении слов, оскорбляющих особу его величества государя императора, потому неоспоримо правильно признаны судом за преступников, на самом деле никогда не были способны сознательным образом оскорблять бога или царя, которого чтут они не только как царя, но и как святого.

И перехожу теперь к изложению подробностей того, что называют они своею «верою».

Три женщины, все три безграмотные, все три женщины добрые, семейные женщины, жившие безбедно в материальном отношении, совершенно счастливые в своей семейной жизни, — все три очень заботливые хозяйки, — были главными лицами в деле выработки той «веры», странные особенности которой, возбуждив смех и негодование всего населения их родной местности, послужили через то коренною причиною постигшего их и их семейства бедствия.

Из этой характеристики житейского и умственного положения основательниц «веры» — веры, которой не умели они даже дать никакого определенного названия и которую я буду называть «верою неподавания руки», — само собою возникало б у образованных людей предположение: мысли основательниц той веры и их последователей должны были иметь основным своим качеством

кроткое доброжелательство, а предметом своим — мирную, скромную семейную жизнь; и потому, когда обратились на религиозные раздумья, должны были породить «веру» мирную, кроткую и, с нравственной и правительственной точки зрения, заслуживающую сочувствия от людей, считающих мирный порядок вещей наилучшим для государства, а добрые семейные отношения — фундаментальнейшим условием и мирного течения национальной жизни, и честной жизни составляющих нацию лиц.

Мое интимное знакомство с одною из тех трех женщин, ее мужем и теткою ее мужа дало мне возможность достоверно утверждать, что «вера» их и в самом деле такова.

В той характеристике есть также черта, дающая всякому образованному человеку основание для предположения печального: все три женщины — совершенно безграмотны, потому в их «вере» должно было, вместе с их прекрасными душевными качествами, отразиться и их невежество. И это совершенно справедливо. И это погубило их и их семейства.

Все основательницы, последовательницы и последователи «веры», о которой пишу я, родились, выросли, дожили до очень немолодых или и старых лет в старообрядчестве так называемого «поповского толка». Я говорил, что старообрядцы поповского толка в той местности оставались долгое время лишенными удобства иметь священников. Результатом было, что их сведения о своем вероисповедании стали неполны и сбивчивы. И в особенности так у массы старообрядцев, которая была безграмотна, как безграмотны были все девятеро судившихся по процессу моих друзей.

При плохих сведениях о своем вероисповедании приобрели они, само собою разумеется, возможность и склонность воображать «отступлениями от старой веры» своей такие уклонения от привычного им, которые нашли бы вещами нимало не противными их вероисповеданию, если бы знали его лучше.

Все те правила, которых держатся Чистоплюевы и Головачева, — правила, не имеющие в себе ничего противного вероучению старообрядцев (или православия, или католичеству, или протестантству), это просто-напросто обычаи индифферентные для старообрядческого (и православного, и католического, и протестантского) вероучения. Но дубовские старообрядцы, по своему плохому знанию своего вероисповедания, нашли эти правила очень важными отступлениями от него и стали считать Богатенковых, Киселевых, Ворониных, Чистоплюевых и их единоверцев «перешедшими из старой веры в другую, совсем особую веру». Не знаю, как рассудили об этом мнение массы дубовских старообрядцев Богатенковы (и ученики Богатенковых — Киселевы): я говорил, что образ мыслей Богатенковых очень мало известен моим друзьям. Но Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые не умели разобрать, что масса дубовских старообрядцев решила

вопрос неправильно. Старообрядцы провозгласили их покинувшими старообрядчество; им показалось: что ж, когда старообрядцы признали нас за переставших быть старообрядцами, то, значит, мы уж и в самом деле не старообрядцы. И они воображают о себе, что они не старообрядцы.

Это лишь пустая фантазия массы дубовских старообрядцев, наивно принятая за истину Ворониными, Чистоплюевыми и их соподсудимыми. Они, как были с детства, так и остаются в сущности старообрядцами поповского толка. Остались ли старообрядцами Богатенковы (и Киселевы), я не знаю; вероятно, остались и они; но не могу сказать этого наверное, не знаю; не знаю потому, что мои друзья, воображающие, по своему простодушию, будто бы «держатся одной веры с Богатенковыми», оказались, по моим расспросам о Богатенковых, не знающими о «вере» Богатенковых ничего, кроме правила не подавать руку и тому подобных мелочей, да той прекрасной черты, что Богатенковы одушевлены любовью к доброй, мирной семейной жизни и считают обязанностью христиан доброжелательствовать и помогать всем «ближним о Христе», православным ли, старообрядцам ли, немцам ли, другим ли каким христианам, — все равно.

Итак, остались ли старообрядцами Богатенковы, и если остались, то понимают ли, что остались, я не знаю. Но Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые — как всегда прежде были, так и по принятии «своей нынешней веры» остались старообрядцами. Их нынешняя вера нисколько не мешает им оставаться старообрядцами, как нисколько не мешала бы принявшему ее православному оставаться православным, католику — католиком, протестанту — протестантом.

Но, оставаясь на самом деле старообрядцами, они совершенно убеждены о себе, что они перестали быть старообрядцами.

Полагаю, что довольно об этом. Потому что само по себе это совершенно индифферентно с правительственной точки зрения. И говорил я об этом лишь для соблюдения ученой полноты изложения.

Буду теперь говорить о тех правилах житейского обращения с людьми, за принятие которых Воронины, Чистоплюевы и их соподсудимые были признаны со стороны массы дубовских старообрядцев покинувшими старообрядчество, чему поверили, по своей наивности, и сами они.

Мне уж приходилось упоминать об этих формалистических особенностях, которые считают мои друзья, по своему жалкому невежеству, имеющими важное религиозное значение. Перечислю теперь все их подряд:

При встречах — на улице ли, в комнате ли, не должно подавать друг другу рук; не должно и раскланиваться; и так как вообще не должно раскланиваться при встречах, то, в частности, мужчины не должны при встречах на улице снимать шапку.

Когда входит кто-нибудь в комнату как посетитель, то находящиеся в комнате не должны переменять своего положения, если не имеют намерения поспешить навстречу входящему; идти навстречу ему, это можно; но только с этою целью и можно переменять положение по поводу того, что входит посетитель (или посетительница); если ж не идти к дверям навстречу ему, то надобно оставаться в прежнем своем положении; потому сидящие в комнате, если не идут навстречу, то должны оставаться сидящими, вставать не должны.

В разговоре друг с другом следует, вместо называния друг друга по именам, употреблять слова, обозначающие наши отношения родства или знакомства; например: брат, сестра, друг, милый, знакомый ты мой, и т. п., или слова, характеризующие человека по его полу, возрасту; например, старуха, старик и т. п. А произносить самому (или самой) свое собственное имя позволительно только в тех случаях, когда тому (или той), с кем мы говорим, действительно надобно узнать наше имя и, кроме как от нас самих, не от кого узнать его в данную минуту.

Если кто, желая говорить с нами, называет нас по имени, то, хоть он и нарушает этим наше правило, что нас не должно называть по имени в разговоре с нами, мы можем отвечать ему, когда думаем, что он сделал так не с намерением оскорбить нашу веру, предписывающую не делать так. Но когда мы полагаем, что он сделал так для оскорбления нашей веры, мы должны отклонить его способ говорить с нами, не одобряемый нашею верою. Не должно ж нам самим участвовать в поругании нашей веры, а мы стали бы соучастниками в поругании ее, если бы приняли, будто хорошее нечто, такой способ начинать разговор с нами, который противен правилам нашей веры.

Относительно одежды, манеры убирать голову и вообще туалетных вопросов нет у русских никаких обычаев или мод, которые следовало бы считать предосудительными; во всем этом можно и должно сообразоваться с тем, как поступают все. Разумеется, женщины должны воздерживаться от подражания в нарядах женщинам, ведущим бесстыдную жизнь. В этом отношении не всякая женская мода совершенно безукоризненна. Но, впрочем, осуждать моды, которые нам кажутся не совсем приличными для скромных женщин, пустое занятие: покрой платья, скромн ли, или не совсем скромн, дело не важное сравнительно с душевною скромностью. Светские женщины принуждены следовать модам; то за что ж их осуждать, если их бальные платья имеют покрой не совсем скромный? Они и сами не рады этому; но нельзя им не одеваться по моде. Кто любит осуждать нескромные моды, легко впадает в грех злоречия. — Это — о женском туалете. О мужском туалете не стоит и рассуждать: все мужчины одеваются скромно; потому, все в этом отношении заслуживают одобрения. Можно думать что-нибудь свое особенное относительно мужского туалета

только по вопросу о волосах. Носить волоса длиною до плеч, это хорошо; это не правило веры, но это хорошо.

Вот и все особенности мнений, послужившие причиною того, что дубовские старообрядцы сочли моих друзей и их единоверцев отступниками от старообрядчества, еретиками, впадшими в ужасные заблуждения, а остальные дубовские люди — православные и молокане — приняли, как бараны, повторять решение старообрядцев, что это ужасные еретики.

Смешно. — Но — эта смешная наивность дубовского населения и была причиною тому, что дубовские маленькие чиновники, — невежды, подобные купцам и мещанам, с которыми пиروвали, приняли усердствовать над еретиками: дубовская молва, молва невежд, погубила несчастных людей, не бывших виновными ни в чем, пока не приняли усердствовать над ними невежественные маленькие чиновники. Следствие над Богатенковыми не могло бы возникнуть, если бы дубовские полицейские чиновники не смотрели на них глазами дубовских старообрядцев. Из кукольной комедии, устроенной простодушными невеждами, дубовское невежество сделало ужасную историю, потому что считало тех невежд страшными еретиками; а подвергнувшись вопросам о предметах, которых не понимали, невежественные подсудимые наговорили на себя чепуху.

Займусь теперь разъяснением перечисленных мною мнений, из-за которых Дубовка провозгласила несчастных страшными еретиками и этою своею невежественною молвою впутала их в гибель.

У меня под руками нет книг о расколе. Это в данном случае очень жаль. Вот уж больше тридцати лет я бросил занятия теологическими науками. И, разумеется, перезабыл девять десятых того, что знал о расколе в моей юности. Но и то, сравнительно немного, что еще удержалось о нем в моей памяти, достаточно для разъяснения дела.

Вся та формалистика, которая ужаснула дубовских старообрядцев и, с их голоса, всю остальную Дубовку, и в том числе чиновников дубовской полиции, ни больше, ни меньше, как продукт смутного воспоминания о старом житейском обычае, которого когда-то держались все русские; который дольше, чем у православных, сохранялся у старообрядцев, но вышел наконец из употребления и у старообрядцев, так что дубовские старообрядцы не сумели разобрать: в отступлении от старообрядческой ортодоксальности виновны были не люди, которых вообразили они впадшими в ересь, а сами они, изменившие нашему коренному русскому обычаю, вовлеченные примером «никонианцев» в безбожный обычай подражать «люторским немцам, живущим за морем, на Аглицком острове».

Изю всей той ребячески-пустой формалистики самое коренное правило то, что не должно подавать руку при встрече. Оно и са-

моё важное по убеждению моих бедных друзей. Я рассказывал в предисловии к этой записке, что я несколько времени шутил над ними, стараясь врасплах пожать руку кому-нибудь из них. Я неловок, это не удавалось мне. Наконец удалось мне поймать врасплах и пожать руку милой, доброй старушки Головачевой. У нее на лице выступило выражение глубокой печали. Я был огорчен, что сделал печаль ей. Стал извиняться перед нею. Племянник и племянница стали утешать ее, говоря, что ее совесть осталась чиста: я взял ее руку в свою и пожал, а она не сгибала свои пальцы, чтобы пожать мою руку; потому не нарушила своей веры. Старушка утешилась. И так как я стал спрашивать, неужели ж следовало ей так опечалиться от мысли, что она нарушила это правило, то Катерина Чистоплюева рассказала случай, который был с нею самою. Г-жа Протопопова уехала однажды к мужу, производившему следствие далеко от города. Возвратившись и увидя на крыльце выбежавших к ней детей здоровыми, она протянула руку заботившейся о них няне (Чистоплюевой), благодаря ее и подступая ближе, поцеловать ее. Чистоплюева была тронута живым выражением благодарности от «своей барыни» и в ответном порыве чувства забылась, приняла протянутую к ней руку и пожала. «Как я пожала ее руку и опомнилась от своей забывчивости, я покачнулась на ногах; думала, не удержусь, упаду; схватилась за стену». Г-жа Протопопова перепугалась: «Няня, что с тобою? Ты вся побледнела». Чистоплюева объяснила ей и побрела, держась за стену, прилечь, как посоветовала ей г-жа Протопопова. Ей понадобилось довольно долго — с полчаса — лежать, чтоб оправиться от слабости, близкой к обмороку. Такой ужасный это грех для людей ее веры, пожать руку.

Если подавать руку грешно, то, разумеется, грешно и кланяться при встрече; а если грешно раскланиваться при встрече, то, разумеется, грешно и вставать при входе посетителя; все это звенья одного ряда, образующего обычную форму церемониальности встреч между знакомыми или между хозяевами и посетителями. Главное звено этого ряда — подавание руки — греховно; из того, понятно, и весь ряд греховен; а когда весь он греховен, то и каждое звено его греховно.

Умно. Так умно, что совестно было мне и смотреть на моих бедных друзей, когда они — люди от природы неглупые, — с серьезнейшим глубокомыслием излагали мне такие ребячески мелочные глупости.

Так, очень умны эти убеждения моих бедных друзей. Но они безграмотные люди. А люди грамотные — дубовские полицейские чиновники — нашли ж эти ребяческие глупости резонным основанием рекомендовать жалких невежд, ум которых погрязал в таких пустяках, как людей, опасных правительству; — так рекомендовали их те чиновники чиновникам судебного ведомства и своему начальству. Без этой рекомендации, что, кроме смеха и жалости,

могли бы чувствовать губернская администрация и судебные власти, читая протокол о юродивой процессии Богатенковых и Киселевых, этой совершенно благонамеренной процессии юродивых? — А эта процессия и послужила поводом к начатию серьезного процесса о несчастных юродивых. Юродивых стали расспрашивать о теологических и политических предметах; юродивые не могли не оказаться виновными во всем, о чем их спрашивали, виноваты ли они в этом. Старуха Головачева признала себя виновною в разврате. Катерина Чистоплюева признала себя, кроме этого, виновною и в намерении отравить мужа.

От природы они люди умные. Но они безграмотные невежды. Когда невежды вовлекаются силою своего религиозного чувства в размышления о своем душевном спасении, и не имеют грамотных людей, с которыми посоветоваться об этих вещах, — как не имели они, лишенные священников, — в результате их размышлений непременно получится большая примесь дурацких ребячеств к их благочестивым заботам о своем душевном спасении.

Итак, не должно ни раскланиваться, ни вставать при входе посетителя, потому что это звенья греховного ряда формальностей обычной церемонии встреч. Но, вникнувши в дело с вниманием, какого заслуживает оно по своей важности для душевного спасения, нельзя не заметить, что в греховном ряде этих звеньев есть еще одно звено, — без сомнения, тоже греховное. При встречах раскланивающиеся и подающие друг другу руки люди приветствуют друг друга по именам: — «Здорово, Иван Иванович» или «Анна Ивановна», — или как там иначе будут имена приветствующих друг друга. Можно ли, когда так, сомневаться в том, что называть друг друга по именам дело тоже греховное? — Ясно, что это грех. А когда так, то подумаем: хорошо ли и самого себя называть по имени без необходимости? — Всякому русскому понятно, что если называть своего собеседника по имени грешно, то произносить свое собственное имя без необходимости надобно признать делом еще более грешным. Наша русская форма имен, — *nomen personale nomine patris in forma adjectivi adjuncto* * — Иван Петрович, Анна Петровна, — производит на нас, русских, впечатление любезности, впечатление вроде того, как если б сказать: «уважаемый мною Иван», «уважаемая мною Анна». Как же Иван Иванович может без необходимости произносить, что его зовут «Иван Иванович»? — Это будет похвала самому себе; это противно христианскому смирению. А когда оба эти слова — «Иван» и «Иваныч» — похвала самому себе, то ясно: и каждое из них в отдельности имеет в себе элемент похвалы. А когда так, то и третье, которое прибавляется к ним, — слово, означающее фамилию, — имеет в себе такое качество быть хвалебным. — «Иван» или «Анна» — похвала; «Петрович» или «Петровна» — тоже; стало быть, и «Слесарев» или «Беляева» — тоже.

* Личное имя по имени отца в форме прилагательного. — Ред.

Умозаключения, делающие честь глубокомыслию юродства. Я изложил их литературным языком. На простонародном языке, которым одним владеют мои друзья для изложения своей «веры», рассуждения эти выходят еще лучше, разумеется. Трудно мне было удержаться от смеха, слушая эту премудрость.

Вся она, как теперь мы видим, развилась из размышлений о том, что подавать руку — грех. Она очень умна, так. Но неоспоримо и то, что она совершенно логически развилась из той основной истины: подавать руку — грех. Логика этого юродства безукоризненно правильна. В логичности рассуждений виден природный ум жалких невежд, Богатенковой и ее мужа, Дарьи Ворониной и моих бедных друзей.

Итак, все сводится к вопросу: почему ж подавать руку — грех? — В предисловии к этой записке я рассказывал, как отвечали мне на этот вопрос мои бедные друзья в первое время нашего знакомства: «моя рука нужна мне; как же я отдам ее тебе? Сам я останусь без руки. Это будет что же? — Уродовать себя. Уродовать себя бог не велит». — Для людей, не привычных к аргументации, основанной на неумении анализировать разные оттенки значения одного и того же слова, этот аргумент непостижим как аргумент; это просто бессмыслица, не относящаяся к делу. Но простолюдины у нас, да и повсюду, серьезно путаются в мыслях, смешивая условный смысл слов с прямым их смыслом. Кто привык слышать простонародные рассуждения, тот понимает, что приведенный мною аргумент может казаться очень правильным для простолюдинов. — Подробным образом эта манера простонародных соображений разобрана специалистами по истории индо-европейских языков; и на анализе подобных путаниц слов основана великая научная слава одного из знаменитейших между этими учеными, Макса Миллера. — Я когда-то занимался этой отраслью ученых исследований. Потому для меня не представляло ни малейшего затруднения понять, что аргументация моих друзей имеет для них значение совершенно дельного аргумента. Бедняжки не сумели различить, что «отдать руку» или «подать руку» — выражение, могущее иметь два различных смысла; один смысл, в котором «отдать руку» значит самому остаться без руки, а другой, в котором «отдать руку» — дело менее ужасное, чем изуродовать себя.

И я не продолжал разговора с моими друзьями о том, почему не годится подавать руку. Стоит ли спорить о такой пустой глупости их? — подумал я.

Но много недель спустя мне случайно припомнилось английское выражение *shake-hands** и вместе с ним подвернулось на мысль наше соответствующее ему выражение «пожать руку»; — для меня стало ясно: хоть и хороша аргументация моих друзей

* Приветствие, рукопожатие. — Ред.

о греховности уродовать себя, но действительный резон, почему подавать руку — грех, остается неизвестен им.

Штука в том, что обычай пожатия рук при встрече — английский обычай; от англичан заимствовали его французы и немцы; от немцев — мы. Сначала приняли его у нас образованные классы; наше простонародье долго дичилось его; после он стал нравиться и нашим простолюдинам; православным понравился раньше, чем старообрядцам; но уж давно приняли его и старообрядцы. — Дело явное: Богатенкова или Богатенков слыхивали в детстве, что вот вводится у дубовских людей обычай подавать руку; а отцы и деды наши этого обычая не знали; потому он дурен (всякое нововведение дурно); следует держаться старины, не знавшей этого обычая. — Слышанное в детстве забылось надолго; когда пробудилось в памяти, пробудилось не вполне: вспомнился вывод: «не должно подавать руку», а резон, почему не должно, не припомнился; и потому понадобилось Богатенковой с мужем самим додумываться, почему ж именно подавать руку не хорошо; вот они и додумались до той аргументации, совершенно убедительной, в том нет спора, но аргументации *post factum**: истина, родившаяся неизвестно из чего, сама породила аргумент, на котором процвела непоколебимо.

Я расхохотался и решил: недобросовестно было бы с моей стороны утаить от моих друзей действительный резон греховности подавания рук. — При следующем посещении я спросил у них: слыхивали ль они, что когда-то были какие-нибудь люди, не подававшие рук. Они принялись припоминать: нет, ничего такого они не слышали. — Тогда я сказал: «А я вот слышал в детстве от старинов и старух, что в молодости их этого обычая в Саратове у мещан не было; а сам, по книгам, узнал после: правда, это обычай у русских новый». — Фома Чистоплюев задумался и, долго рывшись в своей памяти, сказал: «А должно быть, так. Однажды говорил я с судохозяином, который приглашал меня в лоцманы; подошел какой-то незнакомый — стало быть, не дубовский, приезжий — купец, подал руку хозяину, подал и мне. Я сказал ему: «я руки не даю». Он сказал: «А! это значит, вы держитесь в этом старины. У нас есть старики, которые говорят, что прежде этого обыкновения не было». — Оказалось, что этот приезжий купец был лесопромышленник, «пригнавший плоты» в Дубовку (то есть сплавивший вниз по Волге строевой лес). — Я сказал моим друзьям, что когда этот купец был лесопромышленник, пригнавший сам свои плоты с верху (то есть с верховья Волги или с ее верхних притоков), то натурально, что на его родине старики помнят такую старину, какой дубовские старики уж не застали в Дубовке: в тех местах старые обычаи держались дольше, чем в низовье Волги.

* После совершившегося факта. — Ред.

Я пишу это и думаю: «И я должен писать о таких вещах в этой записке! То, что, по мнению всякого образованного человека, должно быть только предметом этнографии, археологии, филологии, было сделано основанием для начатия двух политических процессов; таковы-то были результаты молвы дубовского невежественного населения: юродствовавшие бедняки погибли из-за своей «веры», что грех подавать руку».

Остается сказать об одном из перечисленных мною правил, — о том, что мужчине лучше отпускать волосы до плеч, нежели носить их менее длинными; оно одно не объясняется коренным правилом, что подавать руку — грех, а имеет свое особое основание. Оно возникло тоже из смутного воспоминания о прежнем обычае, которого старообрядцы держались дольше, нежели православные. Лет восемьдесят тому назад благочестивые пожилые люди, усердствовавшие помогать дьячкам при богослужении, любили придавать себе похожий на дьячков вид, давая своим волосам отрастать, как у дьячков, которые тогда (да и после) носили длинные волосы, как священники и дьяконы. Так любили православные набожные люди, так и старообрядцы. У православных стало выходить это из обыкновения лет шестьдесят тому назад; у старообрядцев — несколько позднее. Богатенков и его жена в детстве, вероятно, видывали еще очень много набожных стариков, следовавших этому прежнему обычаю. Когда они принялись заботиться о своем душевном спасении, воспоминание из времен их детства воскресло в них, и они рассудили, что мужчине хорошо носить длинные волосы: это очень благочестиво; как же нет? Священники, дьяконы, монахи носят длинные волосы; и те набожные старики прежних времен хорошо делали, подражая в этом людям духовного сословия. — Это соображение не имеет в себе даже ничего смешного: оно рассудительно.

Но все те другие правила их «веры» глупы до смешного. Правда, они и их подражатели были невежды. Натурально было, что их невежество внесло элемент глупого ребячества в их заботы о своем душевном спасении.

Но хоть и смешные, жалкие невежды, полуграмотный Богатенков, его безграмотная жена, безграмотные Воронины, Чистоплюевы и их последователи — все были от природы люди неглупые; все были люди честные и добрые. Потому, кроме глупостей их невежества, есть в их мыслях и элементы иного достоинства, элементы почтенные, действительно достойные уважения и любви образованных людей. И эти элементы преобладают в них над ребяческими глупостями их невежества.

Они, в сущности, как родились и выросли, так и остались старообрядцами, хоть и воображают, будто бы «вышли из старой веры, перешли в другую». Масса дубовских старообрядцев, как я уж говорил, не имела и не имеет вражды к православным. И, в частности, родители и старшие родственники Богатенковых,

Ворониных, Чистоплюевых жили дружно с православными, приучали своих детей и младших родных иметь хорошее расположение к православным. Правда, Богатенковы, Воронины, Чистоплюевы приняли от своих старших привычку иметь миролюбивые чувства к православию. Но каждый, близко знающий наше простонародье, знает, что и сами православные вообще не прочь при случае покощунствовать над обрядами; это кощунство наивное: простое пустословие для шутки в веселый час, и не мешает нашим простодушным шутникам и шутницам сохранять благоговение к обрядам, о которых они в веселом разговоре отпускают бесцеремонные шутки. Но, хоть и наивные, это все-таки насмешки; и насмешки над самой религиею православной церкви. А каким тоном говорят православные простолюдины о своих священниках, известно и тем людям образованного общества, которые мало знают народ.

Это — о православных простолюдинах. Раскольники, разумеется, еще больше болтают о православии и в особенности о православном духовенстве в тоне насмешки и порицания.

Мои друзья постоянно говорили со мною о православной церкви тоном самого почтительного уважения; и о православном духовенстве всегда тоном доброжелательства и почтения. Они даже не употребляют о православии обыкновенных раскольничьих выражений: «никонианство», или «новая вера»; им кажется, что эти выражения не довольно почтительны; они постоянно называют православие «греко-российская вера». Православных называют «греко-российские» (то есть греко-россияне). Это выражения, которые употребительны у самого духовенства православной церкви.

Ни в этом, ни в каком другом отношении нисколько не стеснялись они со мною. Я много раз говорил, что они с первой минуты нашего знакомства имели во всем безусловное доверие ко мне. И что касается, в частности, православия, они знали, что я не принадлежу к православным. Я говорил в предисловии к этой записке, что в начале нашего знакомства я старался, для рассеяния их мысли, будто б я их единоведец, растолковать им, что я не христианин, что я человек неверующий. Само собою разумеется, это оказалось напрасным трудом: в мысли моих друзей не могло войти представление, что русский человек не принадлежит к христианам. Я остался один для них верующим во все, какие известны им, догматы восточно-кафолического учения, как сами они веруют в них. Но по крайней мере они поняли, что я не православный. Поэтому, когда и увидели, что ошибались до начала нашего знакомства, считая меня человеком их «веры», то понимали, что никакие порицания православию не огорчили бы меня. Они говорили о нем со мною тоном уважения и сочувствия только потому, что действительно проникнуты большим уважением и сочувствием к нему.

И вообще они уважают все те вероисповедания, в которых предполагают хорошие принципы учения о нравственности; поэтому с уважением говорят и о католичестве, и о лютеранстве.

Из русских сект они дурно отзываются о тех, о которых народная молва рассказывает безнравственные вещи. — Расскажу маленькую историю, которая случилась у нас — у меня и у них — по поводу прыгунов.

Мои друзья встретили в камышинском или саратовском остроге доброго, смиренного старичка, который очень много молился, прикладывая руки ладонями к груди. Он произвел на них очень хорошее впечатление своим благочестием и своею кротостью. Сторожа и арестанты говорили им, что он судится за сектантство, и что люди этой секты называются прыгунами. Мои друзья, рассказывая мне об этом старичке, спросили меня, что такое это за секта прыгунов. Я вспомнил, что в «Отечественных записках», получаемых мною, была статья о прыгунах¹⁵, и сказал, что вот принесу сочинение о прыгунах и прочту вслух им. Принес книгу, стал читать, пропуская все неодобрительные размышления автора, заменяя в чтении все его насмешливые выражения выражениями объективного тона. Мои друзья слушали со вниманием, пока дело шло о том, что прыгуны люди смиренные и т. п. Дальше в статье приведены песни, сложенные одним из прыгунов в прославление государя императора. Эти песни очень понравились моим друзьям. Но через несколько страниц началось описание прыгунских молитвенных обрядов (молитвенной пляски); мои друзья изумились и стали шопотом-шопотом, чтобы не мешать чтению — выражать чувство неодобрения. Не выдержали наконец, стали перерывать чтение громкими замечаниями: «Что это они, точно ребятишки, дурачатся!» — «Прилично ли взрослым людям, да еще старикам, старухам! точно пьяные!» Еще страницы две, три, и автор начал рассказывать, что какой-то прыгунский вероучитель взял в наложницы себе двух девок; как только дошло мое чтение до этого, мои друзья сказали: «Стой. Брось». Они были возмущены. Грубых слов не употребляли. Но не было предела их негодованию. — Успокоившись, они обратились ко мне с вопросом: «Скажи, как же теперь рассудить о том старичке, которого мы видели?» Я, по своему правилу не навязывать им моих мнений, отвечал: «Я скажу, как я о нем думаю; но мне любопытно узнать прежде, как думаете теперь о нем вы». Они в один голос отвечали: «Либо не верно сказали нам о нем, что он прыгун; либо он простячок, и были у него какие-нибудь деньжонки, и обирал у него деньжонки мошенник, похожий на того, о котором ты начал было читать, а простячок и не догадывался, на какие гадости тратит его деньги тот плут». — Я сказал, что и я так думаю: или тот старичок был не прыгун, или он был невинною жертвою какого-нибудь плута. «Так вот оно что! Эти прыгуны дурачки, которых обирают плуты!» — решили мои друзья. Я предлагал продолжать чтение. Они сказали, что не хотят и слушать такие гадости.

Невежды, они держатся, будто важных правил веры, ребячески пустых формальностей. Но они и чисты сердцем, как мла-

денцы. Нравственные понятия их безукоризненно прекрасны. И уважение их к людям всех тех вероисповеданий, нравственное учение которых достойно уважения, производит трогательное впечатление. Невежды, и притом невежды, очень сильно преданные своей «вере», они однакоже совершенно чужды всякой нетерпимости; это редкость.

Возвращаясь к ребячествам, которые кажутся им важными правилами веры.

Совесть запрещает им вставать при входе посетителя. Из-за этого иногда сердились на них некоторые из мелких чиновников, входивших в их камеры. Но лишь некоторые, — не все, а лишь некоторые, — из мелких, исключительно только из мелких. Должностные лица более или менее высокого положения, да и из маленьких чиновников те, которые принадлежали к хорошему обществу, понимали, что эти бедные люди не встанут, если сидели, остаются сидящими при их входе, не по неуважению к ним, а лишь по своей «вере», по которой воображают, что вставать при входе посетителя — грех. Если важное должностное лицо входило в сопровождении мелкого чиновника и он накидывался на сидящих с требованием, чтоб они встали, важное должностное лицо приказывало им молчать и внушало ему, что сидящие арестанты остались сидящими не по неуважению к своему посетителю, а только по правилу своей веры. И всегда прибавляло, обращаясь к арестантам, какое-нибудь ласковое выражение своего доброжелательства к ним. Так всегда делал саратовский губернатор. Так всегда делали все офицеры корпуса жандармов.

Жалкие чудачки чувствовали, что неловко им не вставать при входе должностных лиц, которые обращаются с ними так ласково, так хорошо. — Но — и нарушить правило своей веры было им нельзя. И они придумали, как соблюсти вежливость, не нарушая правила своей веры. Они постоянно просили тюремного сторожа, заведывавшего ключом от камер, чтоб он предупреждал их, когда по тюрьме будут ходить какие-нибудь должностные посетители. Не каждый раз, но часто сторож мог исполнить эту просьбу. И, как только услышат, бывало, они, что в тюрьму ждут должностного посетителя, они вставали и оставались на ногах, пока посетитель войдет к ним; и час, и два, и три они проводили в ожидании его, не садясь ни на миг, чтобы быть стоящими, когда он войдет.

Они должны были быть содержимы в отдельных, постоянно запертых камерах. Разумеется, тюремное начальство не всегда имело возможность сообразоваться с этим распоряжением о них; временами тюрьма так переполнялась, что надобно было помещать других арестантов в камеру мужчин, других арестанток в камеру женщин. Тогда камеры оставались от зари до зари не заперты на ключ. Это были формальные случаи предоставления им свободы в тюремном здании. Но, вообще, распоряжение держать

их в камерах под замком было мало соблюдаемо тюремным начальством везде, где они были содержимы: и в Царицыне, и в Камышине, и в Саратове, тюремные начальники, как присматрятся, бывало, к этим арестантам и арестанткам, убеждались, что наблюдать за ними — лишняя забота; и не взыскивали со сторожа, оставлявшего их камеры не запертыми. А сторожа любили их. Потому большую часть времени, которое провели в тюрьмах, они прожили в тюрьмах как будто под арестом на честное слово не уходить из тюрьмы. Таким образом часто гуляли они по двору тюрьмы. Мимо их проходили начальники, должностные посетители. А мужчинам из них вера не позволяет снимать шапку при встречах. Как же быть, чтобы не оказываться невежливым во мнении начальства? — Они придумали нечто подобное тому способу, каким устранили, когда могли, невежливость оставаться сидящими. Выходя гулять по двору, они шли без шапок. И по зимнему морозу ходили без шапок из уважения к начальству, которое, быть может, встретят во время прогулки.

Я спросил их, есть ли нет какие-нибудь другие люди христианской веры, которые тоже, как они, не снимают шапок. Они отвечали, что ни о каких таких людях не слыхивали. Тогда я им сказал, что такие люди существуют; это квакеры¹⁶; они живут больше всего в Англии и Америке; но и там их мало. Я стал было рассказывать моим друзьям о квакерах. Они слушали; хвалили то, что у квакеров, по моим словам, жизнь миролюбивая. Но скоро мой рассказ перестал, как мне показалось, привлекать к себе их внимание. Я остановился и спросил: «Не любопытно вам?» — «Известно, что так». — «Почему же?» — «Да не русские они, то что нам за дело до них?» — «Правда ваша», — согласился я.

Я и полагал, что им будет нелюбопытно. Но считал надобностью удостовериться в том.

Что они не слыхивали о квакерах, я был совершенно убежден с самого начала знакомства с ними: по всему было видно из первого же разговора с ними, что они — старообрядцы поповской секты, остающиеся верными всей догматике старообрядчества (или православия, в данном случае все равно), насколько знают ее. И видно было, что никогда не случалось им интересоваться какими бы то ни было верованиями, кроме православия и старообрядчества. — Даже о молоканах, которых так много в Дубовке, они очень мало знают. — Дубовка ругала их иной раз «хлыстами», сама ничего отчетливо не зная о хлыстах. Мои друзья, припоминая ругательное прозвище «хлысты», которым огорчала их Дубовка, спросили у меня: «Да что ж это за люди, хлысты?» Я отвечал: «Расскажу, что говорят о них и что из молвы о них, по-моему, правда, что пустая ложь на них. Но прежде мне хотелось бы слышать, что слышали о них вы и что думаете о них сами». Они отвечали: «Думаем мы о них вот что: они люди бойкие на словах». — «Почему ж вы так думаете о них?» — «Как же почему? Такое

имя им дано: хлысты, значит, хлестко говорят». — «Об этом вашем предположении поговорим после. А теперь: что ж вы о них слышали?» — «Да ничего, кроме того, что имя им хлысты; ну, этим словом и ругают друг дружку в Дубовке, когда ругаются: хлыст ты, видно, подлец! — а тот ему: сам ты хлыст, подлец». — «Только то и знаете вы о них, что имя их хлысты?» — «Только». — «Значит, моя очередь говорить о них. Имя их вы поняли неправильно. Хлысты, это значит не то, что они хлестко говорят, а значит это: простой народ полагает о них, будто хлыст, когда молится, хлыщет себя ремнем или чем таким, хоть вроде плетки». — «Ну! — изумились мои друзья. — Да неужто ж они такие дураки?» — «Я полагаю, это говорят про них пустое; а вздумалось народу о них так потому, что он неправильно перековеркал имя, которое они дают своей вере. Они свою веру называют христовщина; а народ перековеркал: хлыстовщина, да и перетолковал: хлыстовщина, значит: они хлыщут себя. А сами они, видите, вовсе не то хотят сказать о себе своим прозванием. Христовщина это от какого слова, вы видите?» — «А! вот что! это от слова Христос! Что же, прекраснейшее название они себе выбрали!» — «Теперь слушайте, почему они дали себе такое название. Видите ли, они думают, что в некоторых из них вселяется сам Христос». Мгновенно мои друзья все в один голос сказали: «Стой! Да это что же? Это выходит — они дурачье! Как можно так говорить!» — «Да, это у них мысль такая, которой ни по греко-российской вере, ни по старой вере нельзя назвать правильною», — сказал я. «Дурачье они, брат; и толковать о них не стоит», — решили мои друзья.

Довольно, я полагаю, об отношениях их мыслей к разным вероучениям. Достаточно, чтобы видеть: недаром я говорю, что они просто-напросто старообрядцы поповской секты, по своей наивности напрасно вообразившие, будто правду сказали о них дубовские старообрядцы, что они «перешли в другую веру».

Впрочем, приведу еще кое-что об этом. С правительственной точки зрения вопрос о их вероисповедании индифферентен; но — погибли они потому, что был юридически поставлен вопрос о их «атеизме»; их «республиканство» лишь результат того, что они «атеисты». — Кстати, любопытно бы знать, много ли больше их самих знали догматику православной церкви люди, выставившие их перед администрациею и судебною властью за еретиков? — Я полагаю: любой русский архиерей оказался бы еретиком и с тем вместе атеистом по донесениям тогдашних дубовских полицейских чиновников, если б дан был им случай расспрашивать его о его вероисповедании. Знал ли кто из них хоть «Начатки православного учения»? — Наверное, ни один из них.

Когда Катерина Чистоплюева и Дарья Воронина ездили в Саратов навещать Богатенковых, они ходили смотреть «свою запечатанную церковь» и «свои запечатанные часовни», — так выражается Чистоплюева; это — существовавшие некогда, разумеется,

незапертыми, церковь и часовни старообрядцев поповской секты: в них совершалось некогда богослужение священниками поповской секты. Они были «запечатаны» в годы моего детства; и, как видно, оставались запечатанными в то время (в 1866—1868 годах). Катерина Чистоплюева и Дарья Воронина рыдали, смотря на эти «свои» святыни. Они слушали рассказы саратовских старух — какого исповедания? поповского или нет? — о чудесах, которыми бог ознаменовал эти святыни. Чудеса эти несомненны, по их убеждению. Катерина Чистоплюева рассказывала мне эти чудеса, заливаясь слезами. Старообрядка она или нет?

Но она поверила мнению дубовских старообрядцев, будто б она «бросила старообрядчество»; это иллюзия.

Кто прочел предыдущие листы моей записки, имел множество случаев видеть, что она, ее муж, тетка ее мужа не умеют правильно понимать и самые простые слова, как скоро речь идет о чем-нибудь ином, нежели обыденное житейское, и притом лишь такое обыденное житейское, что известно всем безграмотным людям. Напомню один пример: сколько я толковал с ее мужем о том, не была ль она больна; муж отвечал: «нет»; и когда он спросил у нее самой, она подтвердила ему: он не ошибся, она никогда не имела того расстройства здоровья, о котором я спрашивал у него. А вышло что?

Речь шла о таком, сравнительно, очень ясном вопросе, и сколько времени, какой внимательности к ее рассказам — рассказам вовсе не об этом предмете, а о хозяйственных хлопотах ее — понадобилось мне, чтобы на мой вопрос получился ответ, соответствующий с фактом.

Похожи ль были разговоры следователя с этими людьми, — те официальные разговоры, допросы, — похожи ль были они на то, что велит закон? и похожи ль были они на что-нибудь такое, что могло в самом деле привести к получению достоверных сведений?

Подсудимые не хотят сказать своих имен. И следователь начинает ругать их... К чему, кроме чепухи, мог привести его путь, начинавшийся таким нарушением закона с его стороны?

Само собою разумеется, не на следователя нападал я в моих разговорах с моими друзьями, слыша от них рассказы о их допросах. Я нападал на них. — «Почему ж бы вам не говорить ему, как вас зовут. Сказываете ж вы ваши имена здесь в Вилюйске людям, которые знакомятся с вами и осведомляются у вас о ваших именах. И всегда вы так делали. Делали б так вы и на допросах». — «То и это совсем разные вещи, друг ты мой. Человек не знает, как меня зовут, и спрашивает. Это вещь правильная. Он не знает, ему надобно узнать, чего он не знает. Я ему и говорю. А там что было? У него в бумагах написано мое имя. Он видит его. Да и без того давным-давно знает, как меня зовут. Для чего ж он спрашивает? Только для того, чтобы принудить меня нару-

шить правило моей веры, по которому не следует мне называть свое имя без надобности. Как же мне было сказать мое имя? Это было бы: мне же надругаться над моею верою». — Я стал объяснять, почему следователь хотел, чтобы подсудимые говорили свои имена: это форма для начатия допроса; форма эта хороша вот почему, нужна вот для чего. Мои друзья дивились: никогда не слыхивали они об этом. И мои объяснения плохо укладывались в их мысли, чуждые всякому знанию процессуальных форм.

Я нападал на них и оправдывал перед ними следателя. Но — жаль, что он был такой плохой юрист. Не виноват он, что он плохо знал законы. Но жаль, что он плохо знал их.

Но, довольно ж наконец об этом. Я не желал бы ничего писать об этом. И если б стал переписывать мою записку набело, выпустил бы все те места, в которых говорю что-нибудь не в похвалу чиновникам дубовского полицейского управления или следователю. Можно было бы мне обойтись без этого. Но когда пишешь начерно, всегда пишешь много такого, без чего можно было б обойтись. Переписывать набело не хочу. Экспансивность изложения важнее всего. Это достоинство черногого изложения дороже возможности сгладить его шероховатости при переписке набело.

Моя работа близка к концу.

Я объяснял происхождение и действительное значение той ребяческой формалистики, которую мои темные друзья считают правилами своей веры. Произошла она из смутных воспоминаний о вышедших из обыкновения старинных русских обычаях, которых дольше, чем православные, держались старообрядцы и которые потому имели под конец своего существования у дедов нынешних старообрядцев характер старообрядческих особенностей.

Мои бедные друзья и их единоверцы считают эти ребячества своими правилами своей веры потому, что они очень темные невежды. Но они с тем вместе люди добрые, люди честной жизни; и от природы люди неглупые. Потому в их религиозном чувстве находится элемент, достойный любви и уважения всякого хорошего человека, каковы бы ни были мнения этого человека и как бы ни была высока степень его образованности.

И сами темные мои друзья, — без сомнения, и их единоверцы, — при всем своем невежестве, понимают, что добрые чувства, честность, справедливость, — вообще те хорошие качества сердца и поступков, которые ценятся всеми хорошими людьми, нечто безо всякого сравнения более важное, чем те внешние правила, которые считают они особенностями своей веры. Они соблюдают эти правила, потому что так велит им их совесть; если б они нарушали б те, свои правила, это было бы грех для них, потому что поступать против совести — грех. Но, собственно говоря, только потому и грех им нарушать те правила, что их совесть не велит

им того. А кому совесть не запрещает раскланяться, подавать руку и т. д., те не делают ничего дурного, раскланиваясь, подавая руку и т. д.

Таким образом, в сущности дела, они сами думают, хоть и не умеют высказать этого, что особенности их веры лишь второстепенный элемент ее, а единственное существенное в ней — чистая нравственность и добрые чувства, забота о собственной честности и любовь к ближнему.

И так как они люди, не умеющие анализировать собственных своих мыслей, то у них постоянно выходит на практике такое забвение об особенностях своей веры при суждении о людях, не принадлежащих к ней, что вообще их привязанность к своим ребячествам вовсе не проявляется в их мнениях о людях, не соблюдающих этой формалистики. Они сектанты лишь по отношению к самим себе; по отношению к другим ничего сектантского в их мыслях нет.

Я говорил им: «Вот вы видите, у меня есть привычка подавать руку и раскланиваться. Я этой привычкою не дорожу. Вы знаете, я люблю вас. Вам приятно было б, если б я бросил ее? То извольте, только стоит вам сказать: да, — и я, пожалуй, брошу ее для вас». Они засмеялись: «Да зачем тебе бросать ее? Тебе совесть не запрещает подавать руку и все такое; так, по-нашему, для тебя в этом нет греха».

Я говорил им: «Вот я в разговоре с вами называю вас по именам; хотите, то я буду стараться отучить себя от этого». Они отвечали: «Слушай: да по-твоему это не дурно; то что ж нам неприятного тут? Нет, ты не гляди на то, что мы не зовем <друг> друга по именам, когда говорим между собою, и тебя не зовем, когда говорим с тобою; ты, как по-твоему хорошо, так и зови нас по именам и отчествам».

Если анализировать это с должною логическою строгостью, то получится что? — Есть люди, которые предпочитают Бетховена Моцарту; другие предпочитают Моцарта Бетховену; но предпочитающие Бетховена, если рассудительны, знают, что это лишь их личная склонность; преодолеть ее в себе они не могут; но понимают, что в сущности и Моцарт, и Бетховен равно хороши. То же понимают и рассудительные моцартисты. — «О вкусах не стоит спорить». Но, разумеется, мои темные друзья таких анализов делать не умеют.

Не умеют. Но по инстинкту добрых своих природных склонностей на практике следуют тому, чего не умеют определительно уловить в своих туманных мыслях и высказать. А если б умели, то сказали бы:

«Наша вера не в том, над чем в нас можно смеяться; это смешное для других в нашей вере лишь шелуха нашей веры. Наша вера лишь в том, что уважает и любит всякий честный и доброжелательный к людям человек».

Что это так, видно по их жизни, честной и доброй, и по их похвалам всякому доброму человеку, о каком случается им говорить в простой, откровенной беседе.

Закончу изложением их мнений о том, что называется общественными и политическими вопросами. Люди, судившиеся и осужденные как политические преступники, они не имеют ровно ничего подобного какому бы то ни было политическому образу мыслей; иметь какой бы то ни было политический образ мыслей дело для них, темных невежд, такое же невозможное, как иметь какой бы то ни было — правильный ли или неправильный, дурной ли или хороший с чьей бы то ни было точки зрения — образ мыслей относительно достоинств или недостатков астрономических трудов Ньютона. И я полагаю, что фантазия о каких бы то ни было политических мыслях у русских простолюдинов — фантазия, свидетельствующая о совершенном незнакомстве имеющих ее с русским простонародьем.

Но кое-какие факты русской жизни известны и русским простолюдинам; факты жизни их маленького уголка русской земли — их села или города, отчасти и уезда, в котором их село или город; факты жизни не всего населения этого маленького уголка, а какого-нибудь из подразделений простолюдинов этого уголка. И как-нибудь думают они об этих фактах. Есть у них тоже кое-какие сведения об устройстве русского царства.

Есть это и у моих друзей.

Съестные припасы в Дубовке дешевы. По судоходству, по разным промыслам спрос на работу там велик. Потому заработная плата высока. Таким образом, при высокой заработной плате, при изобилии спроса на работу, при дешевизне съестных припасов даже простой чернорабочий, не знающий никакого ремесла, пользуется, вообще говоря, благосостоянием. Ремесленник, промышленник живет, разумеется, еще лучше. О купцах и говорить нечего.

То же, что в Дубовке, и в Песковатке.

Это общий фон кругозора моих друзей.

На этом фоне ближайшими, важнейшими для их умственного зрения фактами были, натурально, факты экономической жизни их самих, их родных, их соседей. Филатова и Головачева жили очень безбедно. Все другие были более зажиточны. Чугуновы, Чистоплюевы жили в большом изобилии. Воронины еще в гораздо большем. Что о них самих, то же самое о их родных и соседях.

Понятно, каковы их мнения об экономическом состоянии России: русский народ благоденствует.

Бедные люди в России есть. Но причины, по которым бедные бедны, находятся лишь в исключительных случайностях их личной жизни, — или в случайных бедствиях, в которых никто не виноват, или в их пороках. Часто бедствуют сироты, престарелые вдовы, если не имеют близких родственников. Иное семейство бывает

бедно от продолжительной болезни своего кормильца, отца или старшего брата. Иное бывает разорено пожаром. Очень жаль таких людей; но кто ж виноват в их бедствиях? Никто. — Но больше бедные бывают бедны от пороков: от пьянства, карточной игры, разврата и больше всего — от лени. Тут как судить? — Семейство пьяницы чем виновато, что он пьяница? — Ничем. Невинно терпит оно горькую долю. Но пьяница, разумеется, виноват перед семейством. Как с ним быть? — Да что ж ты с ним сделаешь? Хочет пить и пьянствует; как его удержишь? Начальство виновато, что не удерживает его? Глупые слова. Отец сына не удержит, когда сын хочет пьянствовать; сына, который всегда под глазами у отца, то как же успеть усмотреть за пьяницей начальству?

Но хоть много бедных, бедствующих невинно, хоть еще больше порочных людей, впавших в бедность по своей вине, все-таки все они лишь малая доля русского народа. Жаль их. Но они лишь исключение. Вообще русский народ живет в очень хорошем достатке.

Основательны ли эти мысли моих друзей? — Я не полагал, что имею надобность заботиться об исправлении этих мыслей моих друзей, если они в чем-нибудь, по моему мнению, — и, сколько я могу судить, по мнению правительства, — ошибочны.

От экономической стороны русской жизни перейду к административной и судебной.

И тут тот же колорит? — Натурально.

Я нахожу, что тогдашнее полицейское управление в Дубовке было из рук вон плохо, а хозяйничанье дубовской думы было и еще того хуже. Я нахожу, что в Дубовке была патриархальная деревенская беспорядочность и бестолковщина. Это нахожу я. Но дубовское население находило, разумеется, очень удобным для себя этот бестолковый свой административный и думский, свой родной патриархальный порядок, в котором все сплошь было беспорядок. Что ж, надобно признать: для неотесанной деревенщины эта бестолочь имела очень большое удобство. Чиновники были те же мужики в полицейских мундирах. Они якшались со всяким, у кого были пирушки. Все велось «попросту», как между кумовьями, приятелями, собутыльниками. Кто из жителей сам не был, по недостаточности средств для широкой жизни, в кумовстве с чиновниками, у тех были между зажиточными купцами родные, знакомые, покровительствовавшие своим менее богатым родным клиентам у своих приятелей чиновников. Таким образом, «притеснения» никому не было; всем было «вольготно» во «всяких делах». Например, даже податей можно было не платить: поругаются. поругаются «хожалые» думы и полицейские служители с неплательщиком, тем дело и кончится: кумовья уладят как-нибудь к удовольствию неплательщика; вероятно, это делалось через покрытие его неплатежа из каких-нибудь общественных доходов,

остававшихся не записываемыми в приход, поступавших в карманы людей, распоряжавшихся делами патриархального посада Дубовки. Но так ли, или иначе, все шло «попросту», ко всеобщему удовольствию деревенщины.

Я не одобряю такой бестолочи. Правительство смотрит на нее точно также, как я, и постоянно старается заменить ее порядком, более сообразным с интересами правительственными и общественными. Но в Дубовке тогда (в 1860—1868 годах и исстари, раньше того) было так, и было, по мнению Дубовки, хорошо.

Впрочем, надобно сказать: бестолочь, нравившаяся Дубовке, была чужда крупных злоупотреблений; жестокостей в ней и тем еще меньше было. Хозяйничали, как им нравилось, люди все-таки в сущности добродушные, гуляки, казнокрады, взяточники, правда; но, в простоте душевной, добряки, готовые к добродушному оказанию помощи всякому, кому могли сделать добро.

И жили себе дубовские неотесанные люди «вольготно». Хорошо было Дубовке. Все там были довольны.

Из того ясно, каковы мнения моих друзей об административной стороне жизни России.

Начальство у русских доброе. Никого не притесняет. Будь ты смиренный человек, живи, как живут благоразумные люди, то никогда никто из начальства не обидит тебя. А если ты в чем провинился, начальство окажет тебе снисхождение. Очень хорошо все это у нас, у русских. Так и бог велел: со снисходительностью поступать, значит «поступать по-божески».

Народу жить у нас в России совсем легко. В особенности стало ему совсем легко с той поры, как «уволители крепостных» и «завели новый суд». — Крепостные, вообще говоря, жили хорошо. Как же бы нет? Помещику самому была выгода, чтоб его крестьяне жили исправно. Ну, иной помещик был и плохой; известно, в семье не без урода. Но только таких было, должно быть, мало. Вообще, помещики были добрые люди и крестьянам их было хорошо. Но только известно: все ж таки казенным крестьянам было гораздо лучше. А когда уволители крепостных, то стало и им вовсе очень хорошо, как всем другим: казенным и удельным¹⁷.

Чугуновы, Чистоплюевы были удельные крестьяне. Воронины, Богатенковы, Киселевы, если, может быть, и «выписались из удельных, переписавшись в купцы или мещане», то, во всяком случае, были из удельных крестьян. — Удельным крестьянам в Саратовской губернии действительно было хорошо. Земли у них было много, земля хорошая; всех угодьев было вволю. Удельное управление во весь период моих личных знаний о Саратовской губернии было легкое для крестьян, действительно хорошее для них. Мои друзья и их единоверцы судили обо всех «вольных мужиках» по своему родному удельному уголку. Натурально, что им представлялось: всем «вольным мужикам» во всей России всегда было «очень хорошо, совсем легко, вовсе хорошо».

Мнение о том, что крепостное право — вещь не особенно дурная, господствовало по всей России в сословиях простого народа, бывших «вольными», в те времена, когда формировались понятия людей, которым теперь лет пятьдесят или больше. В те времена — до Крымской войны — и образованные классы в провинции очень мало говорили о вреде крепостного права. Мещанам, «вольным» крестьянам это мнение и вовсе было чуждо. Мои друзья и их единомышленники мало видывали крепостных крестьян; о их быте вовсе ничего не слышали от них. Потому полагали, подобно всему дубовскому населению, что им жить было очень недурно. Остаются при этом мнении и теперь. Но, как я говорил, понимают, что «вольным» было лучше. И знают о деле уничтожения крепостного <права> только самую общую черту его: «крепостные уволены»; потому совершенно убеждены, что «прежние крепостные живут теперь совсем хорошо, все равно, как удельные».

Итак, прежде этим людям было очень недурно; теперь вовсе хорошо. Перемена прекрасная.

Подобны этому понятия моих друзей о преобразовании судебной части. Суд и прежде был хорош. Но нынешний суд лучше прежнего. Прежде было недурно, а по новому порядку стало вовсе превосходно.

Их процесс — исключительный случай. Тут действовал Наполеон. Но до всяческих других дел в судах что за дело Наполеону? Все вообще дела решает нынешний суд правильно.

Начальники вообще хорошие люди. Но чем выше начальство, тем оно добрее. — Наш народ и вообще расположен думать, что чем выше начальник, тем добрее он. У моих друзей это мнение получило особенную силу потому, что справедливость его постоянно подтверждалась для них фактами их жизни во время процесса. Им приходилось видеть в это время много «начальников, и гражданских, и военных, всяких». Чем выше начальник, тем он лучше; это постоянно было для них так. — «Важный начальник никогда дурного слова тебе не скажет: и терпеливый он, и учтивый, и ласковый, и всякое облегчение человеку он всегда рад сделать», — этот вывод моих друзей из их личного опыта совершенно натурален: вообще говоря, на высоких должностях гораздо чаще, нежели на мелких уездных, встречаются люди хорошего светского воспитания; их обращение с арестантами, разумеется, терпеливое, вежливое, снисходительное.

Особенно хвалят, как я уж говорил, мои друзья тогдашнего саратовского губернатора и офицеров корпуса жандармов.

И перейдем наконец к понятиям моих друзей о государственном устройстве и к подробностям их убеждения в том, что ныне царствующий государь¹⁸ — святой угодник божий.

Ни о какой иной форме государственного устройства, кроме нашей русской, Чистоплюевы и Головачева не имеют ни малейшего представления, не в состоянии вообразить себе ни о каком народе

иначе, как об имеющем самодержавного царя. Они слыхивали, что у немцев, французов, англичан есть свои особые цари; все эти цари — самодержавные. Имени немецкого царя они не слыхивали до моего рассказа о войне немцев с французами. Не слыхивали и о его родстве с русским царем. Услышав от меня его имя и узнав, что он дядя русскому царю, они пустились в следующие соображения: «Дядя он Александру Николаевичу; стало быть, благочестивый человек?» Я сказал, что да; он не греко-русской веры, а лютеранской, но очень благочестивый человек. — Я уж упомянул, что немецкая или — они слышали и это название — лютеранская вера, по их мнению, очень хорошая; разумеется, менее хороша, чем греко-русская (православная) и в особенности старая вера, но все-таки вера прекрасная. И, разумеется, на мое сообщение им, что немецкий император лютеранин, они отвечали: «Известно, немец, то должен быть немецкой веры. Но очень благочестивый он, правда?» Я снова сказал: да. «Ну, так вот потому-то он и победил Наполеона; за его благочестие дал ему бог это». — Но вот вопрос: кто ж теперь царь у французов, когда оказалось, чего никак нельзя было полагать и чему очень мудрено было поверить, что Наполеон перестал царствовать над французами и даже умер. «Ну, когда так, то скажи же; кто теперь царь у французов?» — Я не говорил моим друзьям неправды ни о чем, но и не вдавался ж в чтение лекций им о вещах, которые для них непостижимы. Я уклонился от ответа о нынешнем «царе» французов, давши своему ответу на их вопрос такую форму: «После Наполеона стал управлять французами старичок, очень старый, Тьер, а после этого старичка, который теперь уж и умер, управляет ими Мак-Магон¹⁹. Я еще не знал тогда об отставке Мак-Магона; я читал тогда только еще ту книжку присылаемого мне «Вестника Европы», где говорилось, что Мак-Магон назначил *ministère des affaires* * и оно готовится двинуть в Париж корпус Дюкро²⁰. Я полагал, возьмут верх бонапартисты и произведут — как знать, удачную или нет? — попытку провозгласить Наполеона IV²¹. Мои друзья, разумеется, не заметили несоответствия моих слов с их вопросом. И сказали: «А! так вот как зовут нынешнего французского царя: Мак-Магон», — и совершенно удовлетворились этим. — Об Англии они слышали, что там царь теперь женщина; знали и ее имя, потому что кто-то говорил при них о бракосочетании дочери русского царя с сыном английской царицы, Виктории. — Но благочестивая ль она? Должно быть, когда царь Александр Николаевич выдал за ее сына свою дочь?²² Я сказал, что да. — Живши в России, мои друзья не слыхивали об американцах. Здесь услышали по поводу толков о пришедшем в устье Лены пароходе (Якутск и вслед за ним Виллюйск были очень заинтересованы этим пароходом: предполагалось, что это купеческий паро-

* Деловое министерство. — *Ред.*

ход, привез всяческие товары и будет продавать их дешево. И долго предполагалось, что это пароход американский, пришедший в устье Лены из Калифорнии)²³. — Итак, вот есть на свете американцы. Как зовут их царя? — На этот вопрос моих друзей я начал ответ в такой форме: «Американцы и англичане, это лишь названия разные, потому что живут они через море друг от друга, а народ это совсем одинакий», — и я хотел толковать о колонизации новой Англии и Виргинии, пока надоест моим друзьям слушать; но эта диверсия не понадобилась. Как только сказал я, что англичане и американцы совсем одинакий народ, мои друзья решили: «А, ну так значит и над ними царица Виктория». Я промолчал, тем дело и кончилось. — Об итальянцах не случилось тогда вспоминать моим друзьям, потому и осталось неизвестно им, я полагаю, имя Виктора-Эммануила или Гумберта²⁴. Об испанцах они и не слыхивали, я полагаю.

Узнав о том, что немецкий царь и английская царица, царствующая тоже и над американцами, очень благочестивы, мои друзья стали снова способны слушать о результатах войны немцев с французами. Убедились, что Россия теперь — чего они никак не воображали, не подвластна Франции. После успел я кое-как растолковать им, что и никогда не была подвластна.

Тогда, — только тогда стало им понятно, что нелепы были те выражения, которыми давали они реплики следователю; что не был он служитель Наполеона и что не Наполеон погубил их, сами себя погубили они.

В последних строках вступительных замечок к этой записке я сказал, какое мнение стали они иметь о себе, понявши, какую чепуху говорили они во время своих перебранок с следователем.

Они считают теперь себя заслуживавшими — да и заслуживающими, — возможно ли прощение? нет! — заслуживающими смертной казни. Они оскорбляли царя Александра Николаевича, святого угодника божия.

И буду говорить, как думают они о царе Александре Николаевиче.

Был когда-то в России дурной царь, Иван Грозный. Нечестивец он был, и убил много невинных людей. Это было наказание божие России. Но с той поры бог всегда был милостив к России, и все цари, бывшие после Ивана Грозного, были очень хорошие. (О Лжедмитрии они не слыхивали, разумеется; а то и он был бы, конечно, дурной царь.) Итак, все цари после Ивана Грозного были хороши; тот кружок, в котором жили мои друзья до своего процесса, был чужд нетерпимости к православию, потому не враждебен мыслям образованных классов о реформах Петра, и привык уважать Петра. Таким образом, вышло, что и он не исключается из непременного ряда хороших царей после одного дурного.

Были хороши все русские цари, кроме Ивана Грозного, от самого крещения России. Но святых между ними, после Владимира

равноапостольного²⁵, было только двое: Алексей Михайлович и вот, второй, нынешний царь Александр Николаевич.

Почему Алексей Михайлович святой, дело само собою понятное: он низложил Никона. Но уж поздно было поправить дело: все архиереи тогдашние держали сторону Никона; ну, и осталось как сделал Никон. Никон и те архиереи поступили дурно. Но лишь они поступили дурно. После люди уж так и родились, и росли в новой вере; то что ж дурного в их преданности их природной вере, которая, притом, и очень хороша. — Потому из архиереев, следовавших после первого поколения, было уж много очень хороших людей. И нынешние греко-российские (православные) архиереи почти все очень хорошие. В Саратове, например, Иаков был дурной (он усердствовал преследовать старообрядцев), а после него все архиереи в Саратове были очень хорошие.

Итак, то, что Алексей Михайлович святой, объясняется смутными преданиями о ссоре его с Никоном, — преданиями, которые, как видно, дошли до моих друзей и их единоверцев от их отцов и матерей в очень сбивчивом виде, а сильным религиозным чувством Ворониной и, в особенности, Катерины Чистоплюевой возведены в признание отстаивавшего прежнюю веру царя святым.

Почему нынешний царь Александр Николаевич святой, понятно всякому образованному человеку. Главные два мотива такому чувству моих друзей относительно его: освобождение крестьян и дарование спокойной жизни старообрядцам. Это не требует разъяснений. Но, признав его святым, Воронина, Катерина Чистоплюева и, под их влиянием, их единоверцы должны были, разумеется, применить к нему все то, что составляет, по их мнению, душеспасительный образ жизни. Это нисколько не монашество: все они были счастливые, любящие семейные люди и оставались прекрасными семейными людьми, и остаются; монашество вовсе не годится для их понятий о душеспасительной жизни. Святая жизнь — это хорошая семейная жизнь. Но жизнь не шумная, скромная. Безо всякой примеси аскетических крайностей, жизнь в изобилии, но скромном; в наслаждении всеми честными радостями семейной любви и всеми, доступными семейству по его денежным средствам, удобствами; но удобствами, а не мотовством денег на пустяки.

Царь Александр Николаевич ведет именно такую жизнь. Он царь; ему, как царю, необходимо окружать себя и свое семейство царским блеском. Но этот блеск их жизни — блеск лишь для торжественных церемоний, при которых царь исполняет свои царские обязанности. А в домашней своей жизни царь Александр Николаевич имеет хорошую, очень не бедную, но совершенно скромную обстановку: так ему нравится; тем он и спасает свою душу.

Что ж? — Разумеется, это переделка фактов по размеру понятий простолюдинок. — Но и действительно, ныне царствующий государь император и его супруга — люди, не любящие в своей

домашней жизни лишней роскоши — кажется, так? — Я не знаю этого близко. Но, кажется, так?!

Позволю себе одно замечание. Сколько я могу судить, ее величество чрезвычайно скромная женщина, и, быть может, она слишком мало известна молве. Если бы слышали о ней больше, то и ее причислили бы к лику святых Катерина Чистоплюева, Воронина, их последователи и последовательницы. В том нет сомнения. Но они мало слышали о ней ²⁶.

Итак, царь Александр Николаевич — святой.

Бог дает своим святым силу совершать чудеса.

Даст он ее и ему.

Россия благоденствует. Но многие русские люди или ведут дурную жизнь, или по крайней мере часто поступают нехорошо. Много в России пьяниц, картежников, беспутных женщин, мошенников; много порочных людей. И хорошие люди иногда ссорятся между собою; хорошо ли это? — Иные мужья бьют жен, иные жены неверны мужьям. Иные дети непочтительны к родителям.

Обо всем этом молится царь Александр Николаевич богу, чтоб исправилось это.

Но исправить сердца людей может только бог, давая своим угодникам силу низводить благодать в сердца людей.

И когда угодно будет богу, ниспошлет он по молитве царя Александра Николаевича благодать свою в сердца всех русских людей, и все мы будем тогда людьми, живущими честно и миролюбиво; не будет тогда в России ни пороков у людей, ни ссор между людьми.

Такова вера Катерины Чистоплюевой, ее мужа и ее тетки, о них я говорю это с полною достоверностью. По мнению их, совершенно такова ж и вера трех других людей, с которыми жили они вместе больше пяти лет в Царицыне, Камышине и Саратове и вместе с которыми совершили свой путь до Вилуйска.

К о н е ц

Н. Чернышевский

27 октября
1879